вадим
делоне

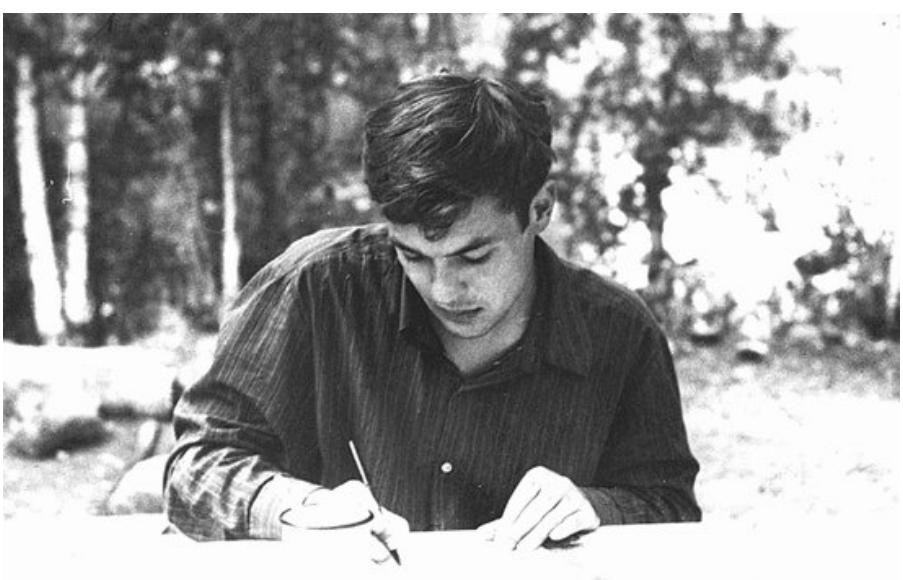
портреты в колючей раме

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Беллетризованный тюремный дневник одного из участников памятной демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года. В этот день восемь москвичей вышли к Лобному месту в знак протеста против вторжения советских войск в Чехословакию и развернули плакаты «За нашу и вашу свободу», «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!». За участие в демонстрации Вадим Делоне, стиляга из круга московской «золотой молодежи», поэт и красавец, внук известного математика, попал на зону в Тюмень, где провел в заключении неполных три года. Воспоминания об опыте открытия им другой, лагерной, России, написанные уже в эмиграции, стали уникальным памятником диссидентского движения 1960-х и были впервые изданы в Лондоне посмертно, в 1984 году. Книга награждена премией имени Даля.

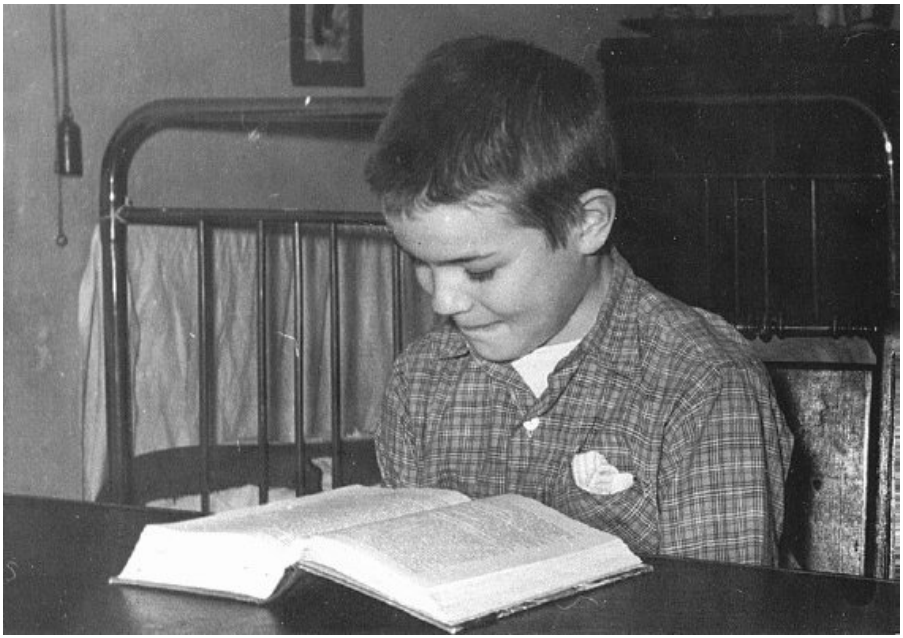
- Вадим Делоне
  - Архивные документы
  - Портреты в колючей раме
    - Предисловие автора
    -
  - Ради нескольких минут свободы
- notes
  - 1



Вадим Делоне
Портреты в колючей раме

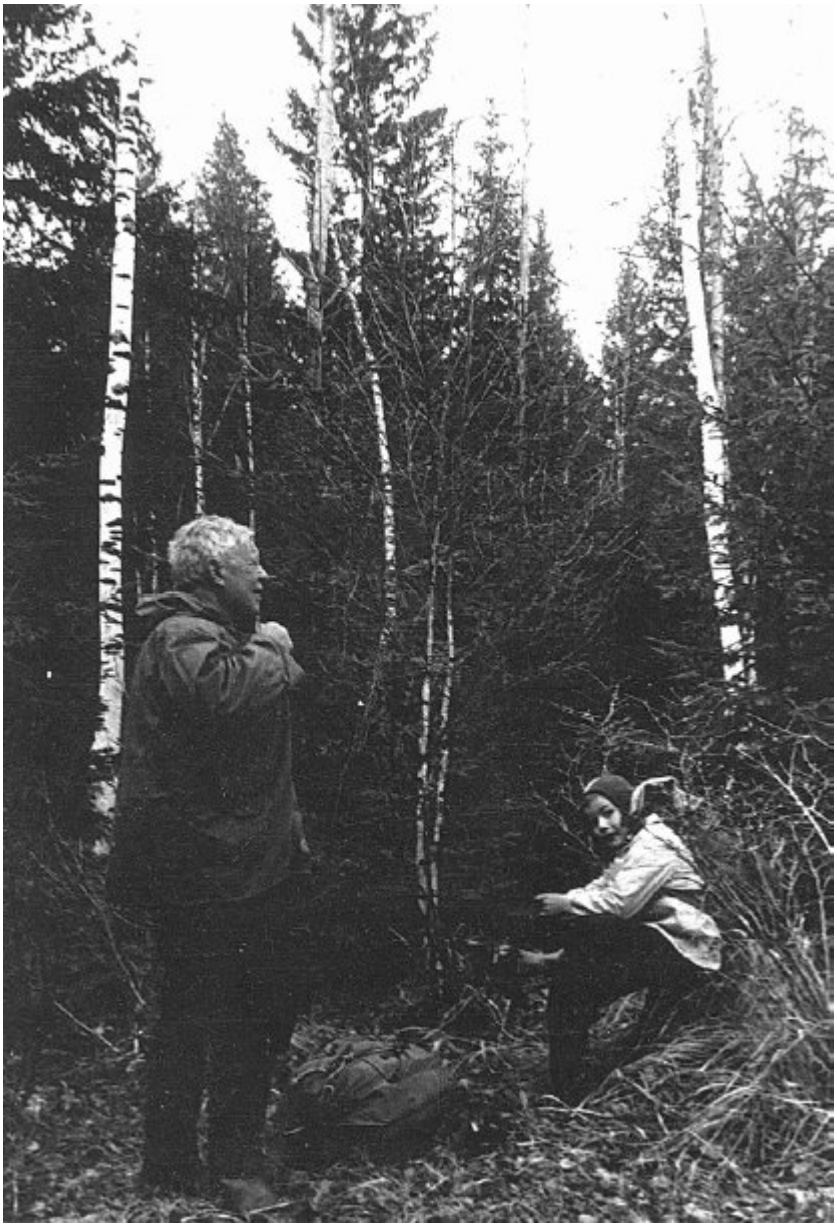
Архивные документы

Дед (Б. Н. Делоне) с Вадимом на даче в Абрамцево, 1950 г.



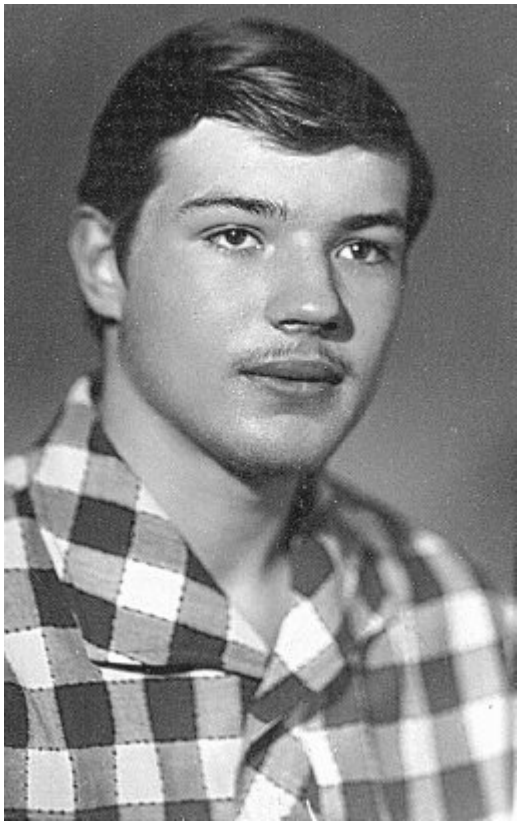
Москва, Пятницкая. Вадиму 6–7 лет

Вадим с младшим братом Мишей и дедом (Б. Н. Делоне), Москва, Пятницкая, 1952–1953 г.



Абрамцево, 1954 г.

Вадим с дедом (Б. Н. Делоне) в горах Кавказа



Вадим Делоне 15–16 лет

Мите Маленькие от Деда.

3 марта 1968 г.

Дорогой Борис Николаевич!

Что сказать Вам о тех стихах Вашего внука, которые Вы сегодня прислали ко мне? Первое впечатление: незрелые стихи очень даровитого мальчика. Иногда не выдержан ритм, иногда небрежна рифмовка. Но всегда есть крепкий лирический стержень, - верный признак подлинно поэтического дарования. Дарование чувствуется уже в его первых юношеских стихах, трогательно посвященных Вам, " дорогим предкам ". Замечательно, что в этих ранних стихах, озаглавленных "Стихи о счастьи", поэт прославляет спокойствие духа, уравновешенность чувств. Он даже готов похвалиться своим бесстрастием. Обращаясь к другу, он говорит: ты

К бесстрастью моему
Зависть тихую питаешь...
Я к безумью твоему.

Но бесстрастье, очевидно, было у него временным, преходящим. Прочие стихи, даже ранние, выражают сметенность чувств. Эта сметенность - даже в его стихах о природе:

Колокольни ясные на заборы молятся,
Колобродят ясени, к осени готовятся.

Не мое дело давать Вам отчет о содержании стихов. Содержание - - обычное в поэзии юношей: влюбленность, тоска, мечтательность, но если говорить о форме, можно с уверенностью сказать, что в позднейших стихах она становится все более зрелой, все более артистичной. Виден несомненный рост дарования - о чем свидетельствуют хотя бы эти стихи о колокольнях и другое стихотворение "Среди ночи концерт Мендельсона".

Словом, мне кажется, что внук Ваш на верном пути, и что если он будет работать над своим дарованием, советские читатели приобретут в его лице сильного большого поэта.

Но работа предстоит ему упорная.

Ваш Корней Чуковский

Письмо К. И. Чуковского Б. Н. Делоне по поводу стихов Вадима

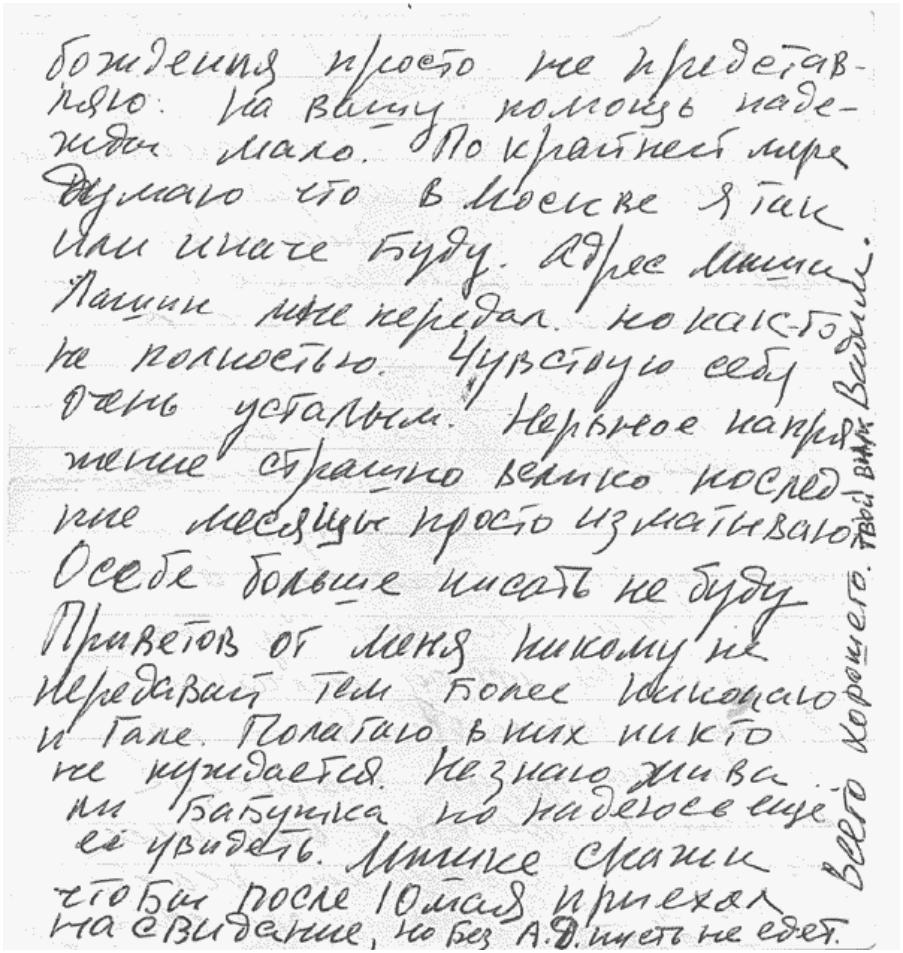
Москва, 1973 г.

Фото со студенческого билета

Здравствуй, Дед!

После свидания с Александровкой и Мишей т.е с ноября прошлого года никаких писем от тебя Миша Лапин и вообще от кого бы то ни было я не получал.

Несколько дней назад майор Лапин (замполит) любезно сообщил мне что получил твое письмо. (Мне он правда его не показал.) Не знаю почему ты пишешь ему, а не мне тем более почему ты удивляешься моему молчанию. Я только несколько дней назад от Лапина узнал о переезде матери и Миши. Они мне ничего не сообщали. Как-то я могу надеяться после осво-



бождения просто не представляю. На вашу помощь надежды мало. По крайней мере думаю что в Москве я так или иначе буду. Адрес Лиши Лашин мне передал. но как-то не полностью. Чувствую себя очень усталым. Нервное напряжение страшно велико последние месяцы просто изматывало. О себе больше писать не буду. Приветов от меня никому не передавай тем более Исмаилу и Гале. Полагаю в них никто не нуждается. Не знаю жива ли бабушка но надеюсь еще её увидеть. Лишке скажи чтобы после 10 мая приехал на свидание, но без А.Д. иметь не едет.

Твой внук Вадим.

Всего хорошего.

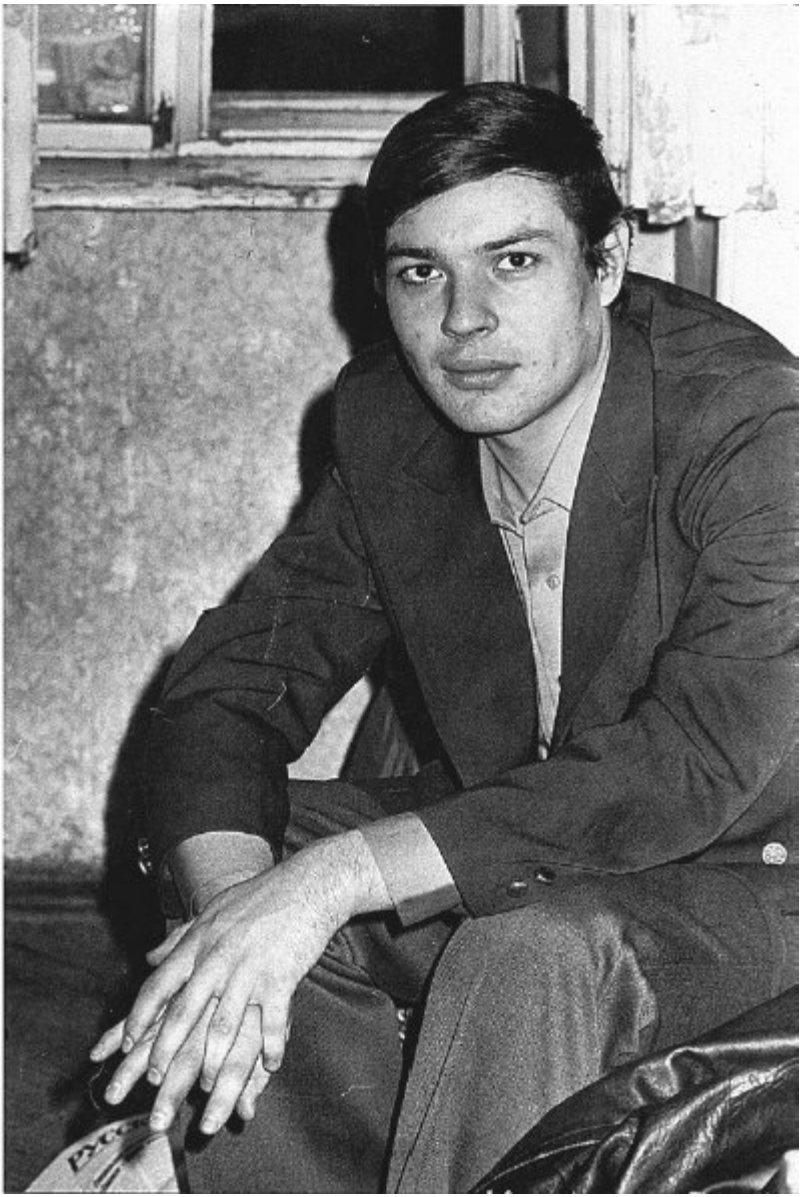
Одно из последних писем Вадима из колонии деду (Б. Н. Делоне)

Москва, после освобождения из лагеря, 1971 г.

Вадим с женой Ириной Белогородской, Москва, 1971 г.

Встреча с президентом Австрии господином Крайски.

На переднем плане: г-н Крайски, г-жа Тигрит, Виктор Некрасов, Вадим Делоне. Вена, 1975 г.



Вена, 1976 г.

В ожидании приезда Владимира Буковского из России, после освобождения из Владимирской тюрьмы.

Ирина Белогородская-Делоне, Виктор Некрасов, Вадим Делоне. Цюрих, декабрь, 1976 г.

Около редакции газеты «Русская мысль»

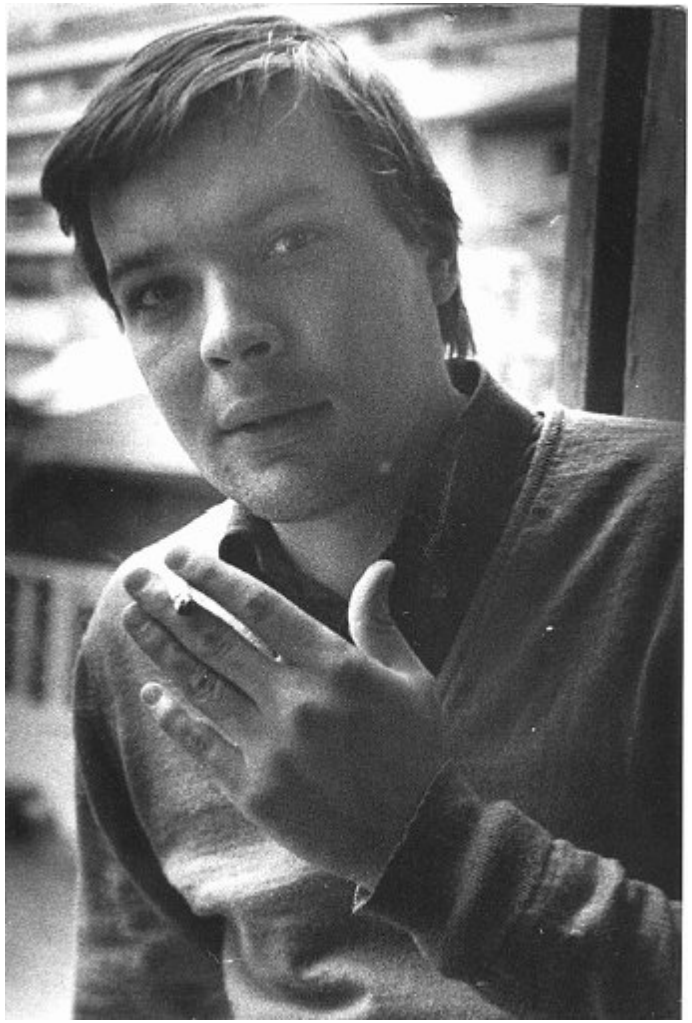
Слева направо: Владимир Максимов, Александр Галич, Вадим Делоне. Париж, 1977 г

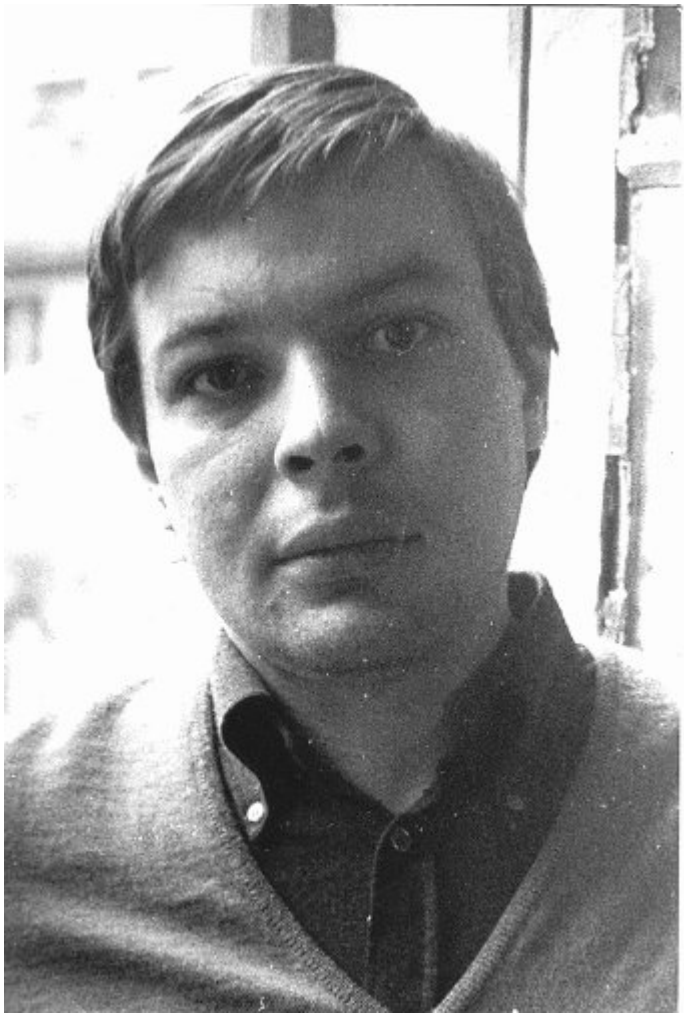
Париж, 1980 г.

Артур Вернер, Владимир Буковский и Вадим Делоне

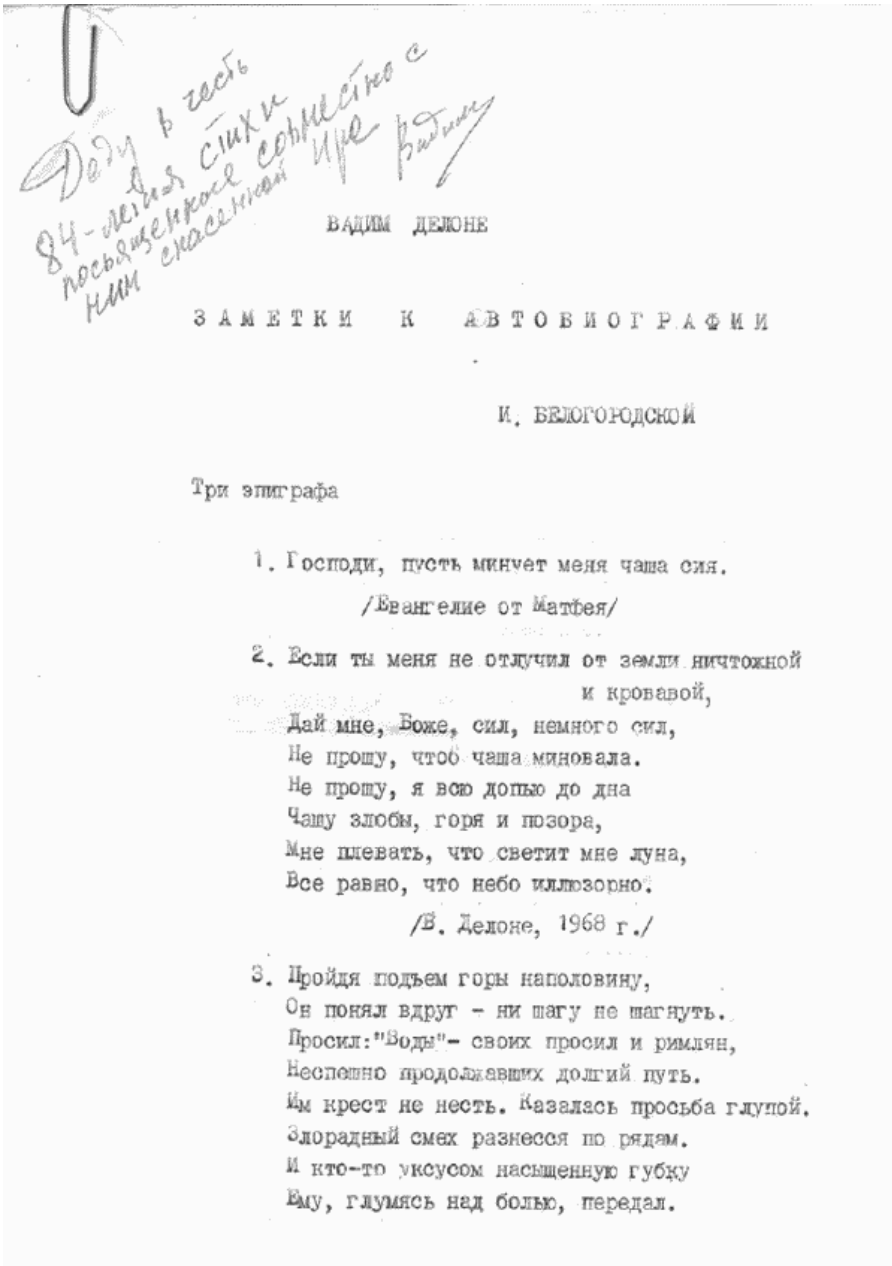
Париж, 1981 г. (фото Г. Файф)

Париж, 1981 г.





Париж, 1982 г.



Вадим Делоне

З А М Е Т К И К А В Т О Б И О Г Р А Ф И И

И. БЕЛГОРОДСКОЙ

Три эпиграфа

1. Господи, пусть минует меня чаша сия.

/Евангелие от Матфея/

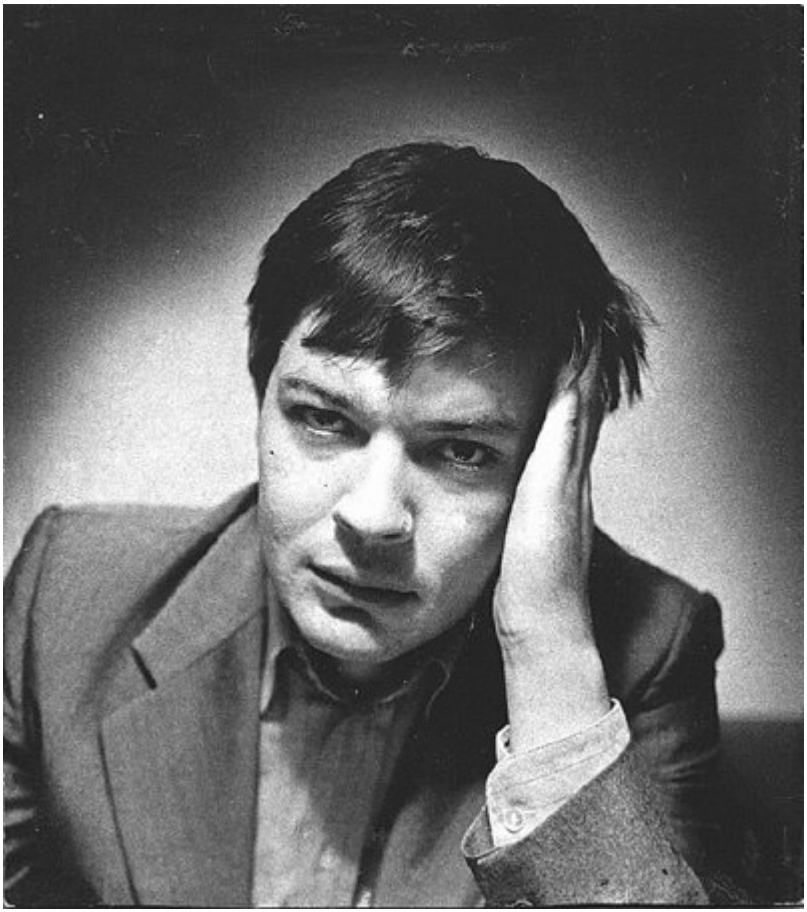
2. Если ты меня не отлучил от земли ничтожной
и кровавой,
Дай мне, Боже, сил, немного сил,
Не прошу, чтоб чаша миновала.
Не прошу, я всю допью до дна
Чашу злобы, горя и позора,
Мне плевать, что светит мне луна,
Все равно, что небо иллюзорно.

/В. Делоне, 1968 г./

3. Пройдя подъем горы наполовину,
Он понял вдруг - ни шагу не шагнуть.
Просил: "Воды"- своих просил и римлян,
Неспешно продолжавших долгий путь.
Им крест не несть. Казалась просьба глупой.
Злорадный смех разнесся по рядам.
И кто-то уксусом насыщенную губку
Ему, глумясь над болью, передал.

Первая страница поэмы «Заметки к автобиографии» с автографом Вадима

Обложка книги «Портреты в колючей раме», изданной в эмиграции



Париж, 1981 г.

Секретно

ЦК КПСС
24960 100-3/3
5 СЕН 1968
Gr. N 23

ЦК КПСС

В последнее время, особенно в связи с событиями в Чехословакии, ЛИТВИНОВ, БОГОРАЗ-БРУХМАН и некоторые их единомышленники вновь активизировали свою враждебную деятельность.

25 августа сего года около 12 часов дня на Красной площади по заранее обусловленному сговору они предприняли попытку, имея при себе плакаты с надписями "Руки прочь от ЧССР!", "За вашу и нашу свободу!", "Долой оккупантов!" /на русском языке/ и "Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!" /на чешском языке/, учинить демонстрацию протеста. С участием общественности враждебная акция была своевременно пресечена. Среди участников этой провокационной вылазки на Красной площади находились ЛИТВИНОВ - без определенных занятий, БОГОРАЗ-БРУХМАН, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации, классификации и кодирования Комитета стандартов, ФАЙНБЕРГ - экскурсовод Павловского дворца в Ленинграде, ГОРБАНЕВСКАЯ - инженер Государственного института по проектированию театральных и зрелищных сооружений, БАБИЦКИЙ - младший научный сотрудник Института русского языка и литературы АН СССР, БАКВА - студентка историко-архивного института, КОРХОВА - научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, РУСАКОВСКАЯ - эксперт Всесоюзного научно-исследовательского института патентной экспертизы, ДРЕМЛЮГА и ДЕЛОНЕ, без определенных занятий.

В связи с указанным антисоветским проявлением было задержано одиннадцать человек, пятеро из которых после опроса в милиции освобождены. ЛИТВИНОВ, БОГОРАЗ-БРУХМАН, ФАЙНБЕРГ, ДРЕМЛЮГА, ДЕЛОНЕ и БАБИЦКИЙ задержаны и прокуратурой гор.Москвы привлекаются к уголовной ответственности по статье 190[3] Уголовного Кодекса РСФСР /организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих порядок/.

Предполагается, что в отношении БОГОРАЗ-БРУХМАН и ЛИТВИНОВА, ввиду нецелесообразности их содержания в местах заключения, суд ограничится ссылкой их в отдаленные районы страны.

Комитетом госбезопасности, Министерством охраны общественного порядка и Прокуратурой СССР принимаются дополнительные меры по предотвращению возможных враждебных акций со стороны антиобщественных элементов.

АНДРОПОВ ЩЕЛОКОВ МАЛЯРОВ

"5" сентября 1968 года
№ 2202-А

Секретно
экз 1

СССР КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
20 сентября 1968 г.
2205-А

гор. Москва

ЦК КПСС

В дополнение к нашему 2102а от 5 сентября с. г. сообщаю, что прокуратурой гор. Москвы в контакте с Комитетом госбезопасности закончено расследование и передается в суд уголовное дело по обвинению БОГОРАЗ-БРУХМАН Л. И. (жена осужденного писателя ДАНИЭЛЯ), ЛИТВИНОВА П. М., БАБИЦКОГО К. И., ФАЙНБЕРГА В. И., ДРЕМЛЮГИ В. А. и ДЕЛОНЕ В. Н.

Вина указанных лиц в учинении 25 августа 1968 года беспорядков на Красной площади подтверждается показаниями многочисленных свидетелей и изъятыми вещественными доказательствами.

В ходе оперативной работы, проводившейся после ареста названной группы, получены данные, что обвиняемые, и особенно БОГОРАЗ-БРУХМАН и ЛИТВИНОВ, враждебно настроены к советской действительности. Вместе с БАБИЦКИМ, ФАЙНБЕРГОМ и другими они до ареста распространяли письма, протесты против прошедших ранее судебных процессов по делам на ГИНЗБУРГА, ГАЛАНСКОВА и других, то есть, как сообщил нам источник, «активно занимались оплевыванием общественного и государственного строя».

Накануне организации беспорядков на Красной площади этими лицами были заблаговременно уведомлены аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты с целью передачи о «демонстрации» клеветнической информации на Запад. В разговоре с источником обвиняемый ЛИТВИНОВ заявил: «О предстоящей демонстрации были предупреждены журналисты ряда западных агентств, которые смогли сфотографировать для печати демонстрантов как „представителей передовой части интеллигенции СССР“, которая протестовала против оккупации свободолюбивой Чехословакии. Для того, чтобы эта демонстрация выглядела на фотографии как можно более правдоподобно, журналисты посоветовали демонстрантам выбрать специально место рядом с Лобным местом, напротив собора Василия Блаженного и памятника Минину и Пожарскому, что могло выглядеть очень впечатляюще в прессе». Через зарубежных буржуазных журналистов эта группа и ранее передавала клеветническую информацию о Советском Союзе на Запад.

Характеризуя политические взгляды участников группы, и в частности ДЕЛОНЕ, наш источник указывает, что последний, «называя себя ярым противником Советской власти, люто

ненавидит коммунистов, коммунистическую идеологию», целиком согласен со взглядами Джиласа. Анализируя деятельность… группы, он (ДЕЛОНЕ) пояснил, что у них не было определенной программы, устава, как у оформленной политической организации, но у всех было единое мнение, что наше общество не развивается нормально, отсутствует свобода слова, печати, действует жестокая цензура, невозможно высказывать свои мысли и убеждения, подавляются демократические свободы. Деятельность этой группы и их пропаганда развивались в основном в кругу писателей, поэтов, а также охватывали широкий круг лиц, работавших в области математики и физики. Среди многих ученых велась агитация с целью заставить последних подписывать письма, протесты и воззвания, которые составлялись наиболее активно занимающимися такого рода деятельностью Петром ЯКИРОМ и Павлом ЛИТВИНОВЫМ. Эти люди являлись ядром, вокруг которого сформировалась указанная группа… ЯКИР и ЛИТВИНОВ являлись наиболее активными деятелями так называемого «самиздата».

Этот же источник, отмечая положение арестованного ДЕЛОНЕ в названной группе, сообщил: «ДЕЛОНЕ… был вхож в круг больших ученых, академиков, среди них был своим человеком и связывал таким образом… группу с ученым миром…, воздействуя на последних, ведя среди них активную пропаганду. Среди знакомых лиц называл академиков Сахарова, который вначале осторожно, с недоверием относился к деятельности ЯКИРА, ЛИТВИНОВА и их группы, колебался в своей позиции и оценках, но постепенно под влиянием разъяснений ДЕЛОНЕ стал подписывать различные документы этой группы…; ЛЕОНТОВИЧА, взгляды которого совпадают со взглядами этой группы. По словам ДЕЛОНЕ, многие из ученого мира разделяют их взгляды, но осторожничают, боясь лишиться работы, быть исключенными из партии».

По оперативным данным, ДЕЛОНЕ в 1967–1968 гг., являясь студентом Новосибирского государственного университета и проживая у академика АЛЕКСАНДРОВА – ученика его деда, вел активнейшую антисоветскую пропаганду среди студентов, наклеивал листовки в институте, разрисовывал краской дома в академгородке с различными призывами и лозунгами, наладил выпуск литературы «самиздата». Факты распространения листовок и появления надписей на домах в новосибирском академическом городке имели место.

Из агентурных источников усматривается, что участники группы ЛИТВИНОВ, ДРЕМЛЮГА и ДЕЛОНЕ, не занимаясь в

течение длительного времени общественно полезным трудом, пользовались средствами так называемого «негласного фонда», созданного их группой за счет денег, получаемых от отдельных представителей творческой интеллигенции и ученых.

Арестованный ДЕЛОНЕ нашему источнику говорил: «… денежными средствами нам помогает интеллигенция, высокооплачиваемые академики, писатели, которые разделяют взгляды группы ЯКИРА-ЛИТВИНОВА… Мы имеем право требовать деньги, мы – функционеры, а они разделяют наши взгляды, сами за себя боятся, так пусть деньгами поддерживают нас».

По имеющимся в распоряжении КГБ данным, БОГОРАЗ-БРУХМАН и ЛИТВИНОВ недавно получили нелегально от находящегося в заключении ДАНИЭЛЯ сборник стихотворений, охаивающих советскую действительность, и переправили его для издания за границу.

Комитет госбезопасности счел целесообразным воздержаться от использования этих оперативных данных по настоящему делу, чтобы не придавать ему политической окраски.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
Ю. АНДРОПОВ

Из «Хроники»:

ГОД ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, статья 19

ВЫПУСК ТРЕТИЙ
30 августа 1968 г.

ГОД ИЗДАНИЯ ПЕРВЫЙ

21 августа 1968 г. войска пяти стран – участниц Варшавского пакта совершили вероломное и неспровоцированное нападение на Чехословакию. Агрессивные действия СССР и его союзников

встретили резкий отпор мирового общественного мнения. Здесь освещаются события внутри страны, связанные так или иначе с проблемой ЧССР. Факты свидетельствуют, что даже в условиях, практически исключающих возможность сопротивления, не прекращается борьба – борьба за претворение принципов гуманизма и справедливости.

* * *

Наиболее решительным выступлением против агрессии в Чехословакии явилась сидячая демонстрация протеста, состоявшаяся 25 августа 1968 г. в 12 часов дня на Красной площади. Исчерпывающую информацию об этом событии дает письмо участницы демонстрации НАТАЛЬИ ГОРБАНЕВСКОЙ.

«Главным редакторам газет: „Руде право“, „Унита“, „Морнинг стар“, „Юманите“, „Таймс“, „Монд“, „Вашингтон пост“, „Нойе Цюрихер цайтунг“, „Нью-Йорк таймс“ и всех газет, которые опубликуют это письмо.

Уважаемый господин редактор, прошу Вас поместить мое письмо о демонстрации на Красной площади в Москве 25 августа 1968 г., поскольку я единственный участник этой демонстрации, пока оставшийся на свободе.

В демонстрации приняли участие: КОНСТАНТИН БАБИЦКИЙ, лингвист, ЛАРИСА БОГОРАЗ, филолог, ВАДИМ ДЕЛОНЕ, поэт, ВЛАДИМИР ДРЕМЛЮГА, рабочий, ПАВЕЛ ЛИТВИНОВ, физик, ВИКТОР ФАЙНБЕРГ, искусствовед, и НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ, поэт. В 12 часов дня мы сели на парапет у Лобного места и развернули лозунги: „Да здравствует свободная и независимая Чехословакия“ (на чешском языке), „Позор оккупантам“, „Руки прочь от ЧССР“, „За вашу и нашу свободу“. Почти немедленно раздался свист, и со всех концов площади к нам бросились сотрудники КГБ в штатском: они дежурили на Красной площади, ожидая выезда из Кремля чехословацкой делегации. Подбегая, они кричали: „Это все жиды! Бей антисоветчиков!“ Мы сидели спокойно и не оказывали сопротивления. У нас вырвали из рук лозунги. ВИКТОРУ ФАЙНБЕРГУ разбили в кровь лицо и выбили зубы, ПАВЛА ЛИТВИНОВА били по лицу тяжелой сумкой, у меня вырвали и сломали чехословацкий флажок. Нам кричали: „Расходитесь! Подонки!“, но мы продолжали сидеть. Через несколько минут подошли машины, и всех, кроме меня, затолкали в них. Я была с трехмесячным сыном, и поэтому меня схватили не сразу: я сидела у Лобного места еще около десяти минут. В машине меня били. Вместе с нами было арестовано

несколько человек из собравшейся толпы, которые выражали нам сочувствие, – их отпустили только поздно вечером. Ночью у всех задержанных провели обыски по обвинению в „групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок“. Один из нас, ВАДИМ ДЕЛОНЕ, был уже ранее условно осужден по этой статье за участие в демонстрации 22 января 1967 г. на Пушкинской площади. После обыска я была освобождена, вероятно, потому, что у меня на руках двое детей. Меня продолжают вызывать для дачи показаний. Я отказываюсь давать показания об организации и проведении демонстрации, поскольку это была мирная демонстрация, не нарушившая общественного порядка. Но я дала показания о грубых и незаконных действиях лиц, задержавших нас, я готова свидетельствовать об этом перед мировым общественным мнением. Мои товарищи и я счастливы, что смогли принять участие в этой демонстрации, что смогли хоть на мгновение прорвать поток разнузданной лжи и трусливого молчания и показать, что не все граждане нашей страны согласны с насилием, которое творится от имени советского народа. Мы надеемся, что об этом узнал или узнает народ Чехословакии. И вера в то, что, думая о советских людях, чехи и словаки будут думать не только об оккупантах, но и о нас, придает нам силы и мужество.

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ
28 августа 1968 г. Москва, А-252
Новопесчаная ул., д.13/3, кв.34».

Следствие по делу о демонстрации ведет бригада следователей прокуратуры г. Москвы – АКИМОВА, ГНЕВКОВСКАЯ, ЛОПУШЕНКОВ, ГАЛАХОВ, СОЛОВЬЕВ. Трое из них участвовали в следствии по делу о демонстрации на Пушкинской площади 22 января 1967 г. Общий надзор за ходом следствия осуществляет пом. прокурора г. Москвы. Участникам демонстрации предъявлена ст. 190 ч. 3, предусматривающая наказание до 3-х лет за создание помех в работе транспорта и государственных учреждений (?), а также ст. 190 ч. 1 УК РСФСР, предусматривающая осуждение за распространение сведений, «порочащих советский государственный и общественный строй» (до 3-х лет).

Стало доподлинно известно, что в ходе предварительного следствия собирается материал чисто интимного характера, создаются фальшивые версии, возможности для ложных и превратных толкований. Вместе с тем по отношению к лицам, допустившим на площади садистские хулиганские действия, в

частности избиение ФАЙНБЕРГА и ЛИТВИНОВА, не принято никаких мер.

Защитительная речь адвоката С. В. Калистратовой по делу Вадима Делоне 11 октября 1968 г.

Я прошу вас, товарищи судьи, отнестись снисходительно к некоторым шероховатостям, которые могут быть в моей речи, так как я начинаю эту речь на двенадцатом часу непрерывной работы.

Мы, юристы, глубоко уважаем закон и знаем, что нельзя оправдать нарушение закона никакими, даже самыми лучшими побуждениями. Руководствуясь законом, и только законом, я обязана, в силу своего профессионального долга, просить суд об оправдании Вадима Делоне, так как ни в законе, ни в материалах дела нет оснований признать уголовно наказуемыми его действия. А если нет преступления, то нет места и для применения уголовной репрессии.

Правовой анализ материалов дела в моей речи будет очень краток, так как я постараюсь избежать повторения доводов товарищей по защите, выступавших до меня. Но прежде чем я перейду к изложению основной позиции защиты, я не могу не отметить, что даже с точки зрения государственного обвинителя, который считает виновность Делоне доказанной, даже с этой точки зрения невозможно понять, почему прокурор требует такой суровой меры наказания для Делоне. В своей суровой несправедливости прокурор даже прямо нарушает закон, когда он просит, определив Делоне по совокупности двух вмененных ему статей наказание в виде лишения свободы сроком на два года, присоединить к этому наказанию еще год лишения свободы по предыдущему приговору, в то время как по правилам ст. 41 и 42 Уголовного кодекса может быть присоединена лишь неотбытая часть наказания. Вы знаете, товарищи судьи, что Делоне до освобождения из-под стражи по приговору 1967 г. пробыл в заключении более семи месяцев. Следовательно, в соответствии с буквой и смыслом закона, прокурор не имел оснований просить вас о присоединении года лишения свободы по предыдущему приговору.

Но дело даже не в этом.

Когда глядишь на Вадима Делоне, когда знаешь материалы дела, когда видишь его в суде и сравниваешь его с другими, а такое сравнение неизбежно, то возникает тягостное впечатление, что прокурор требует для Делоне наказания совсем не за то, в чем его формально обвиняют.

Прокурор, квалифицированный юрист, сказал, что Делоне, как и другие подсудимые, совершил тяжелое преступление. Мы, юристы, обязаны употреблять правовые термины только в строгом соответствии с законом. Я вынуждена обратить ваше внимание, товарищи судьи, на то, что примечание 2 к статье 24 УК РСФСР дает исчерпывающий перечень преступлений, отнесенных законом к числу тяжких. И в этом перечне нет ни ст. 190 ч. 1, ни ст. 190 ч. 3 УК, по которым предан суду Делоне. Прокурор не может не знать и не понимать этого.

Вы хорошо знаете, товарищи судьи, санкцию закона, знаете, что обе статьи УК, вменяемые Делоне, предусматривают наказание не только в виде лишения свободы, но и исправительные работы без лишения свободы и штраф до 100 руб. Следовательно, законом установлено, что человек, признанный виновным в совершении преступлений, описанных в этих статьях, может, в зависимости от обстоятельств, быть присужден к штрафу, или к исправительным работам без лишения свободы, или к лишению свободы сроком от трех месяцев до трех лет.

И вот прокурор, не пытаясь даже сослаться на предусмотренные законом отягчающие обстоятельства, хочет, чтобы Вадим Делоне получил максимально высокое наказание. Вот почему я говорю о тягостном впечатлении от того, что прокурор просит для Делоне наказания не за то, в чем он формально обвиняется.

Санкция закона широка. И если вы будете решать вопрос о том, как надо наказать Вадима Делоне, то вы будете избирать меру наказания не произвольно, а на основании закона, потому что ст. ст. 37, 38 и 39 УК РСФСР определяют, чем руководствуется суд, избирая ту или иную меру наказания.

Вы должны учитывать характер и степень общественной опасности действий, вменяемых Делоне.

И вот здесь я вижу серьезное внутреннее противоречие в речи прокурора.

С одной стороны, прокурор говорит, что подсудимые – это незначительная кучка неправильно мыслящих людей, которая тонет в единодушии всего народа. Значит, их действия не так уж опасны? Но, с другой стороны, прокурор требует определить меру наказания самую суровую – три года лишения свободы, то есть, очевидно, исходит из признания какой-то повышенной опасности этих действий, хотя материалы дела не дают для этого оснований.

И личность подсудимого должен учитывать суд, определяя ту или иную меру наказания.

Двадцать лет Вадиму Делоне. Он не герой – он не сделал в своей жизни ничего такого, что мы могли бы положить на судейский стол: характеристики, похвальные листы, свидетельства его неустанной плодотворной работы. По-разному складываются характеры людей. Одни – в девятнадцать-двадцать лет уже устоявшиеся люди, с определенной профессией, мировоззрением. Другие складываются и формируются позже.

Но назвать двадцатилетнего юношу «лицом без определенных занятий» только потому, что он не работал в течение нескольких недель, – можно только сухо, формально и бездушно.

Дело в том, что Вадим – ищущий юноша, который еще не нашел своего жизненного пути.

Если бы всегда так сурово и так несправедливо именовали «лицами без определенных занятий» людей ищущих, бросающихся от одной работы к другой, из одной местности в другую, если бы всегда так сурово относились к таким людям, то мы, может быть, не досчитались бы на своих книжных полках произведений не только Александра Грина, но и Константина Паустовского и многих других. Именно людям, склонным к творческой, литературной деятельности, часто свойственна такая неустроенность, такое метание, такая неспособность сразу найти свое место в жизни.

Поэтому я считаю, что нельзя ставить Вадиму Делоне в вину то, что он к моменту ареста не работал. Он просто не сумел быстро сориентироваться и устроиться на работу. Нельзя поставить ему в вину, что он оставил учебу в Новосибирском университете. Вы слышали, товарищи судьи, как был травмирован Делоне, молодой, начинающий поэт, разгромной рекламной статьей, обрушившейся на его голову. Я имею в виду статью корреспондента газеты «Вечерний Новосибирск», которая приобщена к делу. В этой статье все, что есть у Делоне дорогого, все его творчество было зачеркнуто даже не черной краской, а дегтем. Да и сам Вадим перечеркнут как человек, как личность, как поэт. Надо иметь закалку, надо иметь волю, чтобы устоять после такого удара.

Посмотрите, товарищи судьи, какая разница между корреспондентом газеты, заключившим с легкостью необыкновенной в кавычки и слово «творчество» и слово «стих», и бережным и чутким отношением к стихам молодого поэта со стороны большого поэта и чудесного человека Корнея Ивановича Чуковского. Мы представили суду письмо Чуковского, который не пожалел своего времени и своих сил, по строчкам разобрал стихи этого юноши и написал, что Вадим Делоне станет большим и сильным поэтом, если будет упорно работать.

Не хватило у двадцатилетнего юноши духа противопоставить разгромной газетной статье даже грамоту, которую он получил от райкома комсомола и правления клуба «Под интегралом». А эта грамота, приобщенная к делу, удостоверяет, что Вадим получил вторую премию на конкурсе стихов, посвященных 50-летию Октябрьской революции. Эта премия и письмо Чуковского дают мне право утверждать, что Делоне – поэт.

Вадим малодушно бежал из Новосибирска – куда? К матери. К этой самой матери, которой он оставил, когда его уводили из дома после обыска, такую простую и трогательную записку: «Прости за то, что я вновь причиняю тебе горе».

Я признаю право прокурора на убеждение, такое же право я признаю и за собой. У нас состязательный процесс. Мы спорим. Прокурор доказывает, что Делоне виновен. Я доказываю, что он невиновен. А вы, товарищи судьи, будете вершить приговор и устанавливать истину. Но разве можно в этом споре закрыть глаза на человека и, оперируя какими-то бездушными понятиями, просить три года лишения свободы для Делоне?

Я понимаю, у прокурора есть что мне возразить. Прокурор может сказать вам, товарищи судьи: я прошу для Делоне такую суровую меру наказания потому, что он судим, а судимость является по закону отягчающим вину обстоятельством.

Да, судим, и по одной из тех статей, которые ему вменяются сегодня. И тот приговор 1967 г. я не имею права критиковать, так как он вступил в законную силу и мне и в голову не приходит выражать сомнение в его законности.

Но я напоминаю вам, товарищи судьи, что ст. 39 УК РСФСР дает право суду и не придавать прежней судимости значения отягчающего обстоятельства.

Вы не можете не учесть, что к моменту первого ареста Делоне было едва девятнадцать лет. Мы не можем сейчас ничего сказать по этому делу, кроме того, что Делоне был осужден к условному наказанию. Мы то дело не исследовали и не могли исследовать. Поэтому прокурор не имеет оснований говорить о «крокодиловых слезах». Может быть, позиция Делоне в том суде объясняется вовсе не желанием кого-то разжалобить слезами, а совсем иными обстоятельствами.

Никаких других, предусмотренных законом, отягчающих вину Делоне обстоятельств прокурор указать не может. Их просто нет.

Безусловно отсутствие каких-либо корыстных целей – в самом широком смысле, полное отсутствие надежд на получение какого-либо личного преимущества или какой-либо выгоды для себя в результате своего поступка, наконец, отсутствие тяжких последствий, – все это должно расцениваться как обстоятельства,

смягчающие вину.

Все это дает мне право утверждать, что прежняя судимость за поступок, совершенный в девятнадцатилетнем возрасте, не является достаточной мотивировкой для назначения Делоне максимально тяжелого наказания, если даже исходить из убеждения в его виновности.

Но я не могу, товарищи судьи, ограничить защиту Делоне только вопросом о мере наказания.

Уже в начале своей речи я высказала свое глубокое убеждение в том, что Делоне не совершил уголовного преступления, что он должен быть судом оправдан.

У меня не меньше, чем у моих коллег по защите, права и оснований ссылаться на то, что Делоне не изготовлял и не приносил лозунгов на Красную площадь, что Делоне держал в руках лозунг «За вашу и нашу свободу», который в своем содержании никакой клеветы не несет. Но я не буду на это ссылаться. Я скажу прямо: именно этот лозунг в руки Делоне попал случайно, он не выбирал лозунга. Поэтому я должна говорить о всех лозунгах, включенных в формулу обвинительного заключения.

Но, говоря о всех лозунгах, я не могу не отметить, что некоторые из них, по моему глубокому убеждению, могли попасть в формулу обвинения только по недоразумению.

Как можно признать клеветническими слова: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», «За нашу и вашу свободу»?

В фойе кинотеатра «Россия» на стене большими красными буквами написано: «За вашу и нашу свободу!» Это название кинофильма. Газеты, содержащие объявление с этим названием фильма, широко, в миллионах экземпляров, разошлись по стране. И я возражаю против обвинения в уголовном порядке по подтексту.

Как можно признать клеветническим сам по себе лозунг, который содержит лишь призыв к свободе и не только не несет никакой информации о каких-либо фактах, но и не содержит никакой, даже объективно ложной оценки каких-либо явлений?

Я помню, что есть и другие лозунги, и я обещала говорить о всех лозунгах. Но здесь я постараюсь, оставаясь на строго правовой юридической позиции, не выходить ни на минуту за рамки закона. При этом я не буду повторять доводов, уже прозвучавших в речах защиты.

По закону устное распространение заведомо ложных клеветнических сведений наказуется в уголовном порядке только в том случае, если оно носит систематический характер.

Произведениями, однократное изготовление или распространение которых наказуемо, эти лозунги не являются. Это положение было прекрасно аргументировано адвокатом Каминской. Значит, даже с этих позиций, независимо от содержания лозунгов, в действиях подсудимых нет состава преступления.

Заведомо ложные измышления – что это такое в строго правовом смысле? Это сообщение о фактах, якобы имевших место, лицом, заведомо знающим, что эти факты не имели места в действительности. Другими словами, закон устанавливает ответственность за распространение заведомо ложных, клеветнических сведений или измышлений, распространение заведомо ложной, клеветнической информации о фактах, не имевших места.

Ни один из вмененных подсудимым лозунгов такой информации не несет.

Может быть клевета и иного порядка – может быть заведомо для данного лица ложное освещение, умышленно ложная оценка тех или иных фактов или событий, действительно имевших место. Это тоже будет своеобразная и направленная информация, которая может быть субъективно заведомо ложной.

Но если та или иная оценка высказывается по внутреннему субъективному убеждению, то она может быть объективно правильной или неправильной, вредной или невредной, но она не может быть субъективно заведомо ложной.

Как можно утверждать, что оценка, в правильности которой человек убежден, – я еще раз повторяю, пусть объективно неправильная, – как можно сказать, что это его внутреннее убеждение, – пусть объективно вредное, – но как можно сказать, что оно заведомо для этого человека ложное?

В соответствии с законом я имею право утверждать, что наш закон не знает уголовной ответственности ни за убеждения, ни за мысли, ни за идеи, а устанавливает уголовную ответственность только за действия, содержащие конкретные признаки того или иного уголовного преступления. Вот позиция защиты, которая дает мне право утверждать, что умысла порочить советский государственный строй у Делоне не было, что он в своих действиях руководствовался совсем иными мотивам. Если эти мотивы, это своеобразие мнений и убеждений прокурор охарактеризовал как политическую незрелость, то за политическую незрелость и неустойчивость нет уголовной ответственности.

В наших руках целый арсенал средств борьбы, средств исправления людей, страдающих политической незрелостью и

политической неустойчивостью. Уголовная репрессия в число этих средств не входит.

Таким образом, я полагаю, что в действиях Делоне нет состава преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 1 УК, и он по этой статье подлежит оправданию.

Пожалуй, еще более кратко будет изложение позиции защиты по ст. 190 ч. 3 УК.

Прокурор утверждает, что Делоне виновен, ссылаясь лишь на то, что Делоне признает факт появления на площади 25 августа и развертывания там плакатов и что его в этом уличает Ястреба.

Несмотря на то, что в законе идет речь о групповых действиях, в пределах этой группы каждый несет ответственность индивидуально за свои действия, а не за действия всей группы, по принципу – индивидуальная ответственность за индивидуальную вину.

Так вот: Делоне признает, Ястреба уличает. Это все доказательства, которые приведены прокурором в его обвинительной речи.

А в чем уличает Делоне Ястреба? В каком нарушении порядка? Она ведь не уличает Делоне в том, что он кого-либо ударил. Она дает показания о том, что ударили самого Делоне два раза. Она ведь не уличает его в том, что он кричал, создавал шум, нарушил порядок. Она его «уличает» в том, что он и сам признает, что он сказал так вот, совсем прямо и открыто: пришел на Красную площадь, чтобы выразить свое несогласие с решением правительства о вводе войск в Чехословакию, сел у Лобного места и развернул плакат с лозунгом «За вашу и нашу свободу».

Если, как утверждает товарищ прокурор, в самом факте выражения несогласия с отдельными мероприятиями правительства содержится состав преступления, – то тогда защищать Делоне возможно. Но пусть прокурор укажет закон, определяющий, что в этом есть состав преступления.

А я слышу, что Делоне обвиняют в несогласии с отдельными мероприятиями, тем более несогласии, которое никак не сочетается в обвинении с какими-нибудь неблаговидными целями, – а только за форму выражения этого несогласия. Вот этой преступной формы в действиях Делоне усмотреть невозможно. Ведь недостаточно пять раз повторить, что было нарушение, надо указать и доказать, в чем именно конкретно было нарушение порядка со стороны Делоне.

Прокурор говорит о ст. 13 УК, о необходимой обороне…

Судья (прерывает): Вы в своей речи больше касаетесь речи прокурора. Пожалуйста, переходите к защите непосредственно.

Каллистратова: Я, товарищ председатель, очень дисциплинированный человек и беспрекословно подчиняюсь указаниям тех, кто имеет право – а вы имеете это право – давать мне указания в судебном заседании. Но я прошу вас учесть, что я – адвокат – не обязана представлять доказательства невиновности Делоне, по закону я здесь для того, чтобы оспаривать и критиковать те доказательства, которые представлял прокурор. Поэтому мне представляется такое построение моей речи правильным.

Однако мне осталось не так долго занимать ваше внимание. Я подхожу к концу своей защитительной речи.

Ст. 13 УК не может оправдывать незаконные действия. Нужно ли было в порядке ст. 13 бить Делоне, который не сопротивлялся? Мне кажется, что не нужно. И мне хотелось бы, чтобы в речи прокурора прозвучал упрек тем неизвестным, неустановленным лицам, которые делали это. Мы к юноше Делоне предъявляем очень большие требования. Давайте же предъявим такие же требования и к тем людям, которые своим несдержанным поведением создали нарушение порядка. Нельзя за действие этих лиц возлагать ответственность на Делоне, который не шумел, не кричал, никого не оскорбил, никому не мешал и не совершил никакого нарушения общественного порядка.

Не стану останавливаться на других вопросах, чтобы не повторять прекрасно аргументированные доводы Каминской и Поздеева. Я заканчиваю. Надеюсь не на снисхождение, а на справедливость и законность вашего приговора.

Я прошу Делоне оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Портреты в колючей раме

Предисловие автора

Друзья звонят из Москвы и спрашивают, как жизнь. Я отвечаю лагерной поговоркой: «Только первые пять лет худо… а дальше – все тяжелее и тяжелее». Ведь по сути дела, эмиграция – это такое же бессрочное отчуждение людей от их подлинной жизни, от их прошлого, как и тюремное заключение. Правда, харч получше, коридоры длиною в авиарейсы, да можешь выбирать сокамерников по собственному усмотрению. В первый день моего приезда в Париж французские приятели возили меня по всему городу и потом спросили: «Что Вам понравилось больше всего?» Я указал здание на берегу Сены. Спутники мои рассмеялись: «У Вас, видимо, ностальгия по тюрьмам, это Консьержери!»

Да… Консьержери, сначала – Мария-Антуанетта, потом – Робеспьер…

«Но Вы же вернулись на землю своих предков, господин Делоне, почему Вы так переживаете? И что Вы чувствовали, когда Вас выпускали на свободу?»

Ответить на этот вопрос односложно я никак не мог… Я чувствовал ужас от того, что добровольно поднимаюсь по трапу самолета, в то время как тысячи моих соотечественников маются по тюрьмам или ожидают арестов, а другие отдали бы все на свете за любезно предоставленную мне возможность вырваться из страны победившего социализма.

Я испытывал унижение от того, что после мрака штрафных лагерей КГБ все же удалось поставить меня на колени, но уже перед воротами Лефортовской тюрьмы, когда арестовали мою жену.

Меня охватило отчаяние от того, что многих своих родных и друзей я, быть может, никогда не увижу.

И я всегда знал, что потеря звуков родного языка для поэта равносильна потере слуха для композитора…

Но объяснить это моим спутникам было трудно.

– Лучше, господа, вернемся к истории, – предложил я, – подлинная история всегда страшнее того, что можно о ней выдумать.

Моим далеким предком был комендант Бастилии. За верность присяге королю ему отрубили голову в порыве «народного гнева» и торжественно носили ее на пиках восставших по улицам Парижа.

Племянник коменданта, мой прямой предок по мужской линии, был известным врачом и служил при личной гвардии Наполеона. Был ранен под Бородино, взят в плен, во Францию не

вернулся, так как женился по любви на русской небогатой дворянке Тухачевской. Жил на свою частную врачебную практику. Кстати, знаменитый советский маршал Тухачевский, которого называли «красным Бонапартом», из того же рода. Он был одним из кадровых офицеров русской армии, перешедших на сторону большевиков. Маршал Тухачевский был расстрелян по личному приказу товарища Сталина в тридцать седьмом году и вполне благополучно реабилитирован в пятьдесят шестом. Возможно, его убили в той же Лефортовской тюрьме, в которой я сидел в конце шестидесятых годов.

Но моя семья, семья Делоне, никакого отношения к большевистскому перевороту не имела. В двадцать третьем году, когда отчаявшиеся обездоленные люди, измученные кровавым советским террором, бежали из России, моему деду, тогда совсем молодому, но уже известному ученому, предложили профессорскую степень в Париже. От выезда он отказался, хотя прекрасно понимал, чем рискует. Он считал, что его долг – остаться в России. Даже в эпоху массовых расстрелов и пыток он осмеливался обращаться к властям с прошениями об арестованных родных и друзьях. К тому времени за математические труды он получил академическое звание, но ни в сталинские, ни в наши годы это никому не гарантировало безопасности. До последних дней жизни он продолжал увлеченно работать со своими учениками, – многие из них стали знаменитыми математиками, – совершал горные восхождения, на которые мало кто решался даже в юности.

В семидесятом году, когда деду было восемьдесят лет, ему доставили особую радость – встретиться со своим внуком в бараке для свиданий уголовной сибирской зоны. Свидания разрешались раз в год на трое суток только с близкими родственниками. Через три часа я упросил деда улететь назад в Москву, так как понял – для него невыносимо видеть меня в этой обстановке и сознавать, что ничем не может мне помочь.

Итак, мой дед пределов России не покидал.

В волне послереволюционной эмиграции в Париже оказалась его кузина (Делоне по материнской линии), поэтесса и художница, дар которой высоко ценили Александр Блок и многие из тех, кто составлял цвет русской культуры Серебряного века. Во Франции она известна под именем матери Марии, православной монахини в миру. Сначала она помогала бесприютным и больным русским эмигрантам. Ей удалось собрать средства и снять дом, в котором эти люди могли жить и питаться благодаря ее отчаянным усилиям; соседний гараж был перестроен в русскую церковь, многие иконы писались самой матерью Марией. Когда немцы

вошли в Париж, в том же доме на рю де Лурмель мать Мария прятала евреев, доставала для них поддельные документы, помогала бежать в неоккупированные районы, принимала активное участие в Сопротивлении. В 43 году по доносу в этот дом нагрянуло гестапо. Не застав мать Марию, они забрали ее двадцатидвухлетнего сына как заложника и обещали отпустить его, если мать Мария сама явится в их штаб. На следующий день она была арестована. Сына не освободили. Мать Мария погибла в лагере Равенсбрюк, ее сын – в Бухенвальде.

Как раз в связи с матерью Марией и произошло первое мое столкновение с представителями КГБ от литературы. Мне было восемнадцать лет, шел шестьдесят шестой год. Я учился в институте и даже работал внештатным сотрудником «Литературной газеты». Меня вызвали на продолжительную беседу и объявили: во-первых, у меня плохие друзья – Буковский, Галансков и другие. Во-вторых, зная, что я родственник матери Марии, предложили мне командировку в Париж (о чем мало кто мог мечтать даже из верноподданных советских писателей) с тем, чтобы я собрал материалы и написал книгу о ее жизни. Но при этом прозрачно намекнули: я непременно должен объяснить мотивы антифашистской деятельности матери Марии не ее глубокой христианской верой, а сочувствием коммунистической идеологии.

Я был несколько удивлен, почему именно ко мне обратились с такой просьбой. «Видите ли, – разъяснили мне, – мы посылаем за границу сотни сотрудников, но каждый из них готов продать Родину за пару джинсов. Вы же не из той категории людей».

– Россию я, верно, не продам, – ответил я, – но только понятия о Родине и чести у нас с вами совершенно разные.

– Ну смотрите, Делоне, в скором времени вы поедете совсем в другую сторону.

В декабре 1966 г. я был отправлен на несколько недель в психбольницу за публичное чтение стихов и попытку создать свободное объединение прозаиков и поэтов. А через месяц после освобождения из психушки был арестован вместе с Буковским за демонстрацию на Пушкинской площади в защиту Галанскова и др. Я провел в стенах Лефортовской тюрьмы десять месяцев. Осенью 1967 г. я уехал из Москвы в Новосибирский Академгородок и стараниями друзей-ученых был зачислен в Новосибирский университет.

В дни суда над Галансковым и Гинзбургом на стенах зданий Новосибирского Академгородка, за тысячи километров от Москвы, появились лозунги: «ЧЕСТНОСТЬ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ», «СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАВНО ФАШИСТСКОМУ».

Надо ли объяснять, какая расправа полагается за такие лозунги – не менее трех лет лагерей. Но в постоянно патрулируемом КГБ закрытом Академгородке виновных так и не нашли.

В этот сказочный период власти не могли запретить бесчисленные вечера, на которых читались неподцензурные стихи, выступали барды. Тогда в первый и последний раз перед такой широкой аудиторией на своей родине свободно пел Александр Галич. Над клубом Академгородка красовался двусмысленный лозунг: «Поэты! Вас ждет Сибирь!»

Причина, по которой власти дозволили столь невероятную для Советского Союза демократию, была одна – временное замешательство.

Ночами мы не отходили от приемников, слушали первые сообщения западного радио о Пражской весне – все жили только этим. Заявление Дубчека о частичной отмене цензуры, демонстрации в Праге с требованиями морального осуждения и изгнания с государственных постов тех, кто замешан в расправах над невиновными. Эти сообщения радовали, объединяли нас. И многим казалось, что стена между нами и свободой медленно рушится.

Но власти постепенно приходили в себя. Первой, как всегда, выступила наша «самая честная в мире» советская пресса и запестрила разоблачениями. Газета «Вечерний Новосибирск» удостоила меня целым разворотом под названием «В кривом зеркале». Имелось в виду, что стихи мои – кривое зеркало, искажающее славную советскую действительность. Один из моих друзей, актер, с большим пафосом читал этот опус. Особое удовольствие всем доставила фраза: «Он не видит ни звезд, ни солнца, ни глаз любимой». Но была в этой статейке одна неприятная угроза: «Странно, что этому зарвавшемуся антисоветчику оказывают поддержку некоторые крупные академики». И вот мне пришлось явиться в ректорат университета и просить меня исключить – я решил проявить лояльность, чтобы не заставлять людей страдать из-за меня, чтобы они могли избежать неминуемых репрессий. Я попрощался с многочисленными новосибирскими друзьями и в июне вылетел в Москву.

В столице спорили только об одном – введут или не введут танки в Прагу. Все понимали, что если Советский Союз окажет «братскую помощь», всем надеждам придет конец. Если посмеют расправиться с целой страной, притом чужой, то уж со своими вольнодумцами расправятся и подавно… И все же надеялись, что не посмеют, побоятся общественного мнения Запада. Что чехам

удалось прорвать кордоны лжи, и не смогут советские власти давить танками свободу на глазах у всего мира… Я не разделял этого оптимизма. Десять месяцев допросов в центральной тюрьме КГБ показали мне, что мало изменений в нашем отечестве со времен «вождя народов».

Я знал, что режим страны победившего социализма не может допустить ни личной свободы для своих граждан, ни развала своего незыблемого Варшавского блока. Да и чешские руководители позднее, на знаменитом совещании в Чиерне над Тиссой, как-то уж слишком заискивали перед Брежневым, клялись в верности идеалам коммунизма, в то время как советская пресса уже начала клеймить их на все лады.

В дни этого совещания я жил на даче и как-то забрел в соседний дом отдыха. Группа чешских юношей и девушек, приехавших по путевкам, смущенно стояла в сторонке. Прочие отдыхающие отводили глаза – дирекция дома отдыха и вездесущие люди из КГБ предупредили всех: к чехам не подходить, будете с ними общаться – сообщим по месту работы. Я бросился к чехам. Они чуть не плакали, что кто-то с ними общается.

А над Тиссой все клялись в нерушимой преданности…

21 августа утром я узнал, что советские танки вошли в Прагу. Невыносимым было состояние унижения, бессилия, отчаяния и стыда за свою страну. На многих дачах горели костры. Жгли не сухие листья – жгли самиздат, ожидая обысков…

25 августа с моими друзьями я вышел на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии и снова был арестован. На этот раз я был приговорен к трем годам уголовных лагерей. В своем последнем слове на суде я сказал, в частности, следующее:

– Не стану повторять все, что сказал мой адвокат. Я с самого начала заявил, что считаю предъявленное мне обвинение несостоятельным. Мое мнение не изменилось и после того, как я выслушал показания свидетелей и речь прокурора…

Я не стану долго объяснять, почему тексты лозунгов не являются ни заведомо ложными, ни порочащими. Текст лозунга, который я держал в руках, – «За вашу и нашу свободу» – выражает мое глубокое личное убеждение…

Здесь, в зале суда, прокурор обратился ко мне с вопросом: «Какой свободы вы требуете? Свободы клеветать? Свободы устраивать сборища?» Нет, мне не нужна «свобода клеветать».

Я понимаю этот лозунг так: от нашей свободы зависит не только демократия в нашей стране, но и свобода развития другого государства, и свобода граждан другой страны…

Принимая решение по дороге на Красную площадь, я знал, что не совершу незаконных действий, но понимал, был уверен, что против меня будет возбуждено уголовное дело. И то, что я был ранее осужден, не могло побудить меня отказаться от протеста…

Я понимал, что ЗА ПЯТЬ МИНУТ СВОБОДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ Я МОГУ РАСПЛАТИТЬСЯ ГОДАМИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

> *«Везде есть люди дурные, а между дурными и хорошие, – спешил я подумать, себе в утешение, – кто знает? Эти люди, может быть, вовсе не до такой степени хуже тех, остальных, которые остались там, за острогом». Я думал это и сам качал головою на свою мысль, а между тем – боже мой! – если б я только знал тогда, до какой степени и эта мысль была правдой!*
>
> *Ф. Достоевский «Записки из Мертвого дома»*

Дверь камеры открылась со знакомым скрипом. На пороге появилась фигура полковника Петренко. Я поднялся, исполняя инструкцию приветствовать начальство стоя. «Скоро узнаете, Делоне, лагерь – не Лефортовская тюрьма, там с вами на „будьте любезны“ разговаривать не будут. Быстро сломают. И запомните раз и навсегда – мы никогда не позволим вам говорить то, что вы думаете… Все-таки я вас не понимаю. Всего девятнадцать лет, а уже второй раз за решеткой. Способный парень, ни в чем не нуждались, жили бы как все люди. Не любите вы сами себя, что ли?»

Я вовсе не считал, что не люблю себя. Я прекрасно знал, что люблю себя даже слишком сильно, и единственное мое утешение: ведь сказано в Евангелии – «Люби ближнего, как самого себя».

Нет, если бы я себя не любил, разве сжималось бы горло от стыда, когда читал я в газете «Правда» о «единодушной поддержке всем советским народом» мер по оказанию помощи Чехословакии. Нет, я слишком любил себя, чтобы смириться с этим. Мне вспомнился Достоевский, «Братья Карамазовы», как Иван Карамазов говорит, что он готов полюбить все человечество, но только абстрактное человечество. Что готов даже на подвиг, на какие угодно муки, но вот конкретного ближнего он никак

полюбить не может и для какого-нибудь пьяного и хитрого мужичонки даже пальцем не пошевелит. Да и для самого себя тоже. Сколько их, пренебрегавших ближними ради абстрактной идеи, – от Нерона до Дантона, от Ивана Карамазова и Верховенского до Ленина и Сталина.

«И все-таки я не понимаю, – продолжал Петренко, – ваш дед – известный математик, академик, отец – физик, на коммунизм работают всю жизнь, на нас. А вы против – как же так?» Да, думал я, в том-то и суть, что молча все мы на вас работаем, на танки, которые в Праге, на тех, кто тридцать лет назад пытал в тех стенах, где сейчас ведут со мной задушевные беседы, отправляя в концлагерь.

Нет уж, увольте меня от вашего коммунизма. «Я возвращаю вам билет» в это светлое будущее. Выдайте мне вместо советского паспорта, «серпастого и молоткастого», которым так гордились поэт Маяковский и его последователи, выдайте мне копию ПРИГОВОРА ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Я мало верю, что в скором времени смогу предъявить его вам как обвинение. Но это моя индульгенция перед собой, перед ближними, перед Прагой.

Я с грустью думал о том, что покидаю стены тюрьмы. Лефортово, тишина которого многих сводила с ума, теперь казалось мне чуть ли не последним пристанищем, последней возможностью побыть с самим собой наедине. Ведь впереди этап в Сибирь.

Заскрипели, залязгали двери, захлопнулась крохотная клетушка уже знакомого воронка, в которой даже закурить невозможно – так стиснут ты качающимися, наплывающими на тебя в дорожной тряске железными стенами. И снова изнурительный шмон перед входом в пересылку «Красная Пресня». Собирая растерзанные вещички в боксике предварительных камер, я прислушивался к многоголосой перекличке. Тревога и ожидание пути в неизвестное, пути, с которого можно и не вернуться, будоражит людей, взвинчивает их до предела. Из всех боксиков, по всему гулкому переходу неслись истошные крики, брань, песни. Голоса перекрывали друг друга и терялись, вопрошали, не дожидаясь ответа, и отвечали никому и всем сразу. И вдруг в этом хаосе криков я узнал знакомый голос Володи Дремлюги, моего подельника. Радость, обуявшая нас обоих, была неописуемой, как будто не два месяца, а десятки лет прошли со времени нашей последней встречи в зале суда на скамье подсудимых. «Вадик, – кричал Дремлюга, надрывая свой и без того зычный голос, – Вадик, я двужильный, я все выдержу, я из работяг, с детства скитаюсь, я не пропаду, глотку им всем

перегрызу, ты же знаешь, кому угодно лапши на уши навешаю. В случае чего в побег уйду, все равно вырвусь из этого социалистического концлагеря. А тебя ведь затравить могут, я им за тебя никогда не прощу. Ты же поэт, они над тобой издеваться будут. Эх, только бы в одну зону попасть, вместе…» «Милый Дремлюга, – думал я, – где уж там в одну зону. Лагерей по России не счесть…» Дремлюга понял мое молчание. «Вадик, почитай стихи на прощанье!» – крикнул он. Я начал читать отрывки из своей «Лефортовской баллады»:

Чем дышишь ты, моя душа,
Когда остатки сна ночами
Скребут шагами сторожа,
Как по стеклу скребут гвоздями?

Там за решеткой, на заре,
Там, за разделом хлебных паек,
На белокаменной зиме
Раскинул иней ряд мозаик,

Людей припомним не со злом,
Душа, сочувствий мне не требуй,
Пусть путь мой крив, как рук излом,
В немой тоске воздетых к небу.

Но вдруг, душа, в моей казне
Не хватит сил – привычка к шири,
И дни, отпущенные мне,
Одним движеньем растранжирю?

А если я с ума сойду —
Совсем, как сходят без уловки,
На полном поезда ходу,
Не дожидаясь остановки?

…

Я вижу профиль Гумилева,
Ах, подпоручик, Ваша честь,
Вы отчеканивали слово,
Как шаг, когда Вы шли на смерть.

Вас не представили к награде,
К простому третьему кресту,

На Новодевичьем в ограде,
И даже скромно на миру.

И где могила Мандельштама,
Метель в Сучане не шепнет,
Здесь не Михайловского драма —
Куда похлеще переплет.

На глубину строки наветы…
За голубую кровь стихов
В дорогу, синюю от ветра,
Этапом мимо городов.

И он строфы не переправит…
И, умирая, понял вновь,
Что волкодавов стая травит
Не только тех, в ком волка кровь…

Потом Галича, потом еще чьи-то, читал, надрываясь, с таким восторгом, как не читал никогда прежде и потом. Мандельштама я все откладывал, берег напоследок. Я знал, что в этих самых боксиках этой самой пересылки тридцать лет назад за свои бессмертные стихи погибал Осип Мандельштам. Я вспомнить хотел эти несколько строк и дать им рожденье второе.

Гомон в камерах улегся. Пересылка затихла. В гулком коридоре стихи были отчетливо слышны:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца —
Там припомнят кремлевского горца.

Двери боксика распахнулись. Сизый от ярости капитан даже не кричал, а как-то всхлипывал, захлебываясь слюной: «Сука, антисоветчик, фашист! В наручниках мы тебя обломаем!» Двое здоровенных надзирателей деловито тюкали меня головой об стену. Изящные браслеты американского производства сомкнулись на выгнутых за спиной руках. Щемящая боль покатилась по позвоночнику. Меня пинками поволокли к боксу особого назначения. В другую сторону волокли Дремлюгу. Последнее, что я слышал, – его отчаянный крик: «Гады, коммунисты хуевы, не трогайте Делоне, не смейте, всю пересылку на ноги подниму!»

Не знаю, когда я очнулся и каким образом вообще пришел в себя. Я только понял, что стою на коленях, упершись лицом в цемент. Примерно около получаса я пытался подняться, но это вызывало страшную режущую боль. Я давно слышал про американские браслеты, что каждое движение приводит к тому, что цепочка на наручниках защелкивается еще на одно деление. Торжество автоматики! Заключенный пытает самого себя. Не нужно применять силу и утруждать надзирателей. Но я все же продолжал пытать себя, пытать с одной только целью – подняться на ноги. За моими упражнениями наблюдали с двух сторон, через два глазка, один из которых наподобие перископа был вмонтирован в стену толщиной около трех метров. Глазки открывались, и в них появлялось «недремлющее око». Я все-таки встал и уперся лбом в стену. Дверь открылась, и появился уже знакомый мне капитан. Он все еще не мог успокоиться – такое сильное впечатление, очевидно, произвела на него моя поэзия. Он дышал мне в нос винным перегаром и тыкал в лицо горящей папиросой: «Щенок, чехов вздумал защищать, там наши парни гибнут, а ты в адвокаты полез». – «Не надобно войска вводить, когда не просят», – выдавил я. – «Ах, войска вводить не надо, гад, мы, если б не эти американцы, и по Германии бы прошлись и подальше, а ты, значит, против. Ничего, скоро порядок наведем, всех вас сгноим. А тебе, запомни, из лагеря не выйти, не поможет тебе „Голос Америки“, кровью харкать будешь, сволочь интеллигентская. Я бы сам в чехов стрелял, да вот таких, как ты, вредителей, охранять приходится». На этом его красноречие иссякло. Я то приходил в себя, то снова исчезал в какой-то липкой пелене. Дверь снова скрипнула, и я приготовился к новому докладу о международном положении и моей предательской роли в нем. Но на пороге стоял пожилой надзиратель. Опасливо озираясь, он втиснул мне в разбитые губы уже закуренную сигарету: «Покури, покури, сынок, эко они на тебя накинулись. Тут все офицерье, как прочитали в газетах про вашу демонстрацию, никак успокоиться не могут, только и злорадничают, к нам, мол, придут, голубчики, никто „Красной Пресни“ не минует, а капитан этот за пьянку из армии списан и во всем интеллигенцию винит, а что они ему сделали, ума не приложу. Я бы давно с этой работы подлой ушел, да из деревни я, инвалид, а в Москве только на такой службе прописку получить можно. Все сытнее, чем в колхозе, и комнатенка казенная». Он все говорил и говорил, поднося к губам и давая затянуться своей сигаретой, как будто вливал в горло больному глоток холодной воды. В общую камеру меня втащили уже к ночи. Первые ехидные фразы, которыми обычно встречают новичка, быстро утихли,

когда блатные пригляделись. Сквозь туман я слышал голоса: «Чего это с ним, начальник? Доходяга, что ли? За что это его?» Чьи-то руки подняли меня и уложили на нары. Спал я, очевидно, долго и, когда проснулся, понял, что моего пробуждения ждали с любопытством. «Сколько же они тебя в браслетах продержали, землячок?» – «Не знаю, часов шесть, наверное». – «Шесть! Суки поганые! Не положняк! Медицинская норма полчаса! Ты же мог подохнуть. Это обрыв крови, и позвоночник ломает самозатягивающаяся змейка. А за что это ты сидишь, за какую политику?» Руки у меня не двигались, но сознание возвращалось. Я вдруг понял, почему ко мне относятся с таким искренним почтением. Я был на всю камеру единственным обладателем шевелюры. Из всех следственных тюрем не бреют головы только в Лефортово. Если бы я вошел в камеру в смокинге, я вряд ли произвел бы большее впечатление. «Так что за политика такая?» – выспрашивали меня. «Да понимаешь, земляк, за чехов заступился, устроил кипеш на Красной площади». Камера загудела. Газеты в пересыльной тюрьме полагались ежедневно, и все, конечно, прочли два потрясающих по своей загадочности фельетона «В расчете на сенсацию» и «По заслугам». И вдруг один из «героев» лежит с ними на нарах. Поднялся невероятный гвалт. Обо мне почти забыли. Выясняли свое отношение к происшедшему и причины, которые побудили меня на такую политику. Спорили между собой вплоть до драки и бесконечной ругани. Наконец, иссякнув, обратились ко мне: «Земляк, не томи душу. Мы вот все спорим, сколько вы у американцев денег получили? Мы думаем, так что если тысяч за полста, то дело доброе, мы бы тоже пошли». Я не обиделся даже, а как-то растерялся. Все пытался доказать, что ничего не получил ни от каких американцев, а выступал, чтоб каждый жил, как хочет. Блатные понимающе кивали: «Ну да, политик, что там говорить, мы знаем, везде осторожность нужна. Вот и в наручниках, видать, из тебя ничего не выпытали…» Интерес ко мне был явно утерян, и основной разговор сводился к бесчисленным спорам о том, за какую сумму можно пойти на срок. Молчание мое вызывало почтение, а возбуждение камеры не знало границ. На второй день голову мою и мошонку побрили, приведя меня к виду, предписанному инструкциями.

* * *

Пересыльная тюрьма – это странный форпост свободы. Единственное уникальное место в России, «в большой и малой зоне», то есть в лагерях и на воле, где человек кричит, говорит,

шепчет все, что хочет. Ему все равно. Приговор подписан. Ничто не изменит его судьбу.

Назад уже поздно. Мосты сожжены.
Лишь пепел летит за спиною,
Как судорогой, судьбы людей сведены
Глухой пересыльной тюрьмою.
Не жди, не надейся в душе сохранить
Приметы любви и тревоги,
Как желтые листья, прошедшие дни
Взметнутся и рухнут под ноги.

И человек кричит – зная, если был, и чувствуя, если не был в лагерях, – что ждет его впереди бесконечная слежка, борьба за кусок хлеба и срок свободы, который могут отодвинуть одним росчерком пера на годы. На пересылке же все проездом, транзитом. Проводники ГУЛага не очень стараются навести порядок. На месте разберутся, кого за что и как гноить. И камера моя веселилась: «Политик с нами сидит». И смелость безнаказанной толпы бушевала в моих попутчиках, просилась наружу. Блатные бросились на решку, и в старой Краснопресненской тюрьме неслись, ударяясь о стены, лозунги: «Свободу американским летчикам, сбитым над Вьетнамом! Хуй соси, читай газету, прокурором будешь к лету! Да здравствует английская королева! Ребята, с голоду пухнем, коммунисты всю кровь через хуй высосали! Зови сюда комиссию ООН! Обратимся к американскому президенту!» И по камерам раздавалось дружное «ура».

В этих бессмысленных исступленных криках слышал я брань коммунальных квартир, где они коротали детство, сдавленную боль и ненависть из голодных советских колхозов… И я не мог остановить эту страшную, хмельную без хмеля отвагу. Пройдет несколько страшных лет, и так же нем я останусь перед молодыми французскими гошистами, которые, поддерживая духовное сопротивление в России, кричали против проклятой буржуазии. Не потому, что вместе с ними хотел бы ее искоренить, а потому, что именно буржуазия эта предала и продала цивилизацию и тех самых ребят в камере на «Красной Пресне». Потому что ни одним сантимом не поступятся они ради ближнего, ради самих себя, своей чести, если продать ее удается дорого…

Пересылка гудела. Окна тюрьмы смотрели во двор, откуда ежедневно уходили этапы в разные края – на Восток, в Сибирь, в Казахстан… Неистовым особым восторгом загорались камеры,

когда отправляли женский этап. Блатные бросались к решеткам окон, и даже стальные намордники каким-то чудом разрушались на глазах. В последний раз на долгие годы увидеть женщин, и вся тюрьма нестройным хором радостно выводила:

Гоп-стоп, Зоя, кому давала стоя,
Давала Зоя стоя начальнику конвоя.

Песню эту подхватывал внизу, в каменном колодце двора, женский хор. Конвой начинал нервничать, неслись в адрес гражданок-заключенных предупреждения и брань. Только того и ждали мои сокамерники. Как по таинственному знаку снизу или свыше (никогда этого не поймешь), они срывались в бешеный крик: «Козлы, педерасты, менты проклятые! Лизоблюды! Только с бабами расправляться можете!» Камни Краснопресненской тюрьмы звучали как призывные тамтамы. В камеры во главе с офицерами врывались, гремя ключами, надзиратели. На час воцарялся покой, и вдруг со двора чей-то тоненький женский голос запевал снова. И снова, по единому этому зову, поднималась тюрьма, лезла на решетки окон, колотила в железные двери.

Через пару дней меня перевели в другую камеру, где встретили меня с удивлением. Компания тут была куда посолидней предыдущей, возраст – не меньше 40 лет. Заправила обратился ко мне снисходительно и недоуменно: «Куда это тебя, пацан? Тут менты, видно, ошиблись: у нас особняк (особый режим), у всех по четыре ходки (судимости)». Я скромно доложил, что иду на общий режим и сижу за политику. Оказалось, что и до этой отдаленной камеры уже дошла весть о политике. Гордыня моя была удовлетворена сверх меры, ибо знатные урки столпились вокруг меня и засыпали вопросами. Их очень взволновало, по какому праву меня посадили в камеру к рецидивистам. Они, к моему удивлению, прекрасно знали советские законы и не преминули этим воспользоваться. Начался шум и крик, они ломали дверь, крыли последними словами каждого приблизившегося надзирателя: «Бляди, пацана испугались! У вас же записано, что ему сидеть с ворьем мелким. Свои законы нарушаете, коммунисты! Мы правды требуем!» Я малость опешил от этого заступничества и юридического гнева моих соузников. Начальство молчало, камера ликовала, зная свою правоту. Сколько раз их судили строго по закону, якобы строго в соответствии с предъявленной статьей Уголовного кодекса. Сколько раз отметалось их голодное послевоенное прошлое, сколько раз судьи закрывали глаза на то, что никуда не могли

они деться после лагерного срока, кроме своих прежних воровских компаний, – не принимали их ни в родные города, ни на заводы, ни в деревни. Сколько раз потом они угрюмо слушали свой приговор. А сейчас они торжествовали призрачную победу. Они шли не за мной. Они шли за себя и не давали меня в обиду.

Стали вызывать на этап. «Не трогай политика, начальник, аккуратнее шмонай, не хами. А то сам знаешь, нам все равно, что пятнадцать лет, что расстрел». И сила подневольных и обреченных в первый, но не в последний раз поднимала меня. Конвойные, которые еще два дня назад, издеваясь надо мной, бросали мне в лицо скомканные после обыска шмотки, теперь покорно складывали их в мой мешок, как служащие самого респектного модного магазина где-нибудь в Париже.

Есть разные отсчеты времени и расстояний. В пересыльной тюрьме есть один отсчет. Он прост, как первые математические представления древних греков. В камеру, которая готовится к этапу, приносят хлеб на дорогу, и по числу буханок нетрудно узнать, каков предстоящий путь. Я, конечно, не мог тогда пересчитать крошки хлеба на километры, но новые мои друзья сделали это быстро: «Ты, политик, в Европу не поедешь. Путь твой, скорей, до Свердловской пересылки. Ну, а там все одно. Сейчас и Магадан не так страшен, как раньше». Следовательно, двигаться предстояло на Восток, откуда, как говорят, восходит солнце. Кроме хлеба, выдали заранее тухлую селедку, и мы тронулись к воронку. Людям, изучающим топографию, должны быть непонятны ориентиры, которые называли мои соседи по боксикам, гадая направление дальнейшего следования. Игра эта захватывает весь этап в воронках, в столыпинских вагонах идет бесконечный спор – куда же везут, ибо конвой обязан хранить молчание до места прибытия. Но я был с корифеями. Едва мы отъехали от стен «Красной Пресни», как мне уже сказали, на какой вокзал нас доставят и какие потом пересылки, это все почти вслепую определялось. На отводных путях Казанского вокзала нас ждала кованая фраза, которую слышат в России с 17 года по сей день: «Шаг вправо или влево считается за побег. Конвой стреляет без предупреждения». В размокшем сером снегу нас поставили на колени. Снова потрошили вещи. Медленно и с неохотной бранью принимал нас новый конвой – конвой вагонзака.

* * *

Окна в купе были заколочены напрочь, в каждое купе

загоняли по 20–30 человек, размещая вповалку на трехъярусных сплошных полках! И вдруг мне оказывают графские почести. Ведут с моим растерзанным мешком в отдельный тройничок (купе на троих), и я там один, совсем один. Даже видавшие виды «особо опасные» озадачены. «Политик! Так ты что, отдельным номером едешь, как Черчилль!» А мне как-то стыдно за эти привилегии. Я смотрю на конвой и подзываю одного, прошу отдать особо опасным все, что у меня осталось от тюремной передачи, а он мне: «Не могу, по уставу не могу». Я начинаю рыться в остатках своего барахла, предлагаю ему свитеры и рубашки – все равно они мне не нужны, в лагерях запрещено. Конвойный все трясет головой, делает мне непонятные знаки и отбегает от моего зачумленного купе. А часа через два подходит и просит: «Давай стихи – свои и Высоцкого». Я читаю ему стихи, а он записывает, потом бежит с моей копченой корейкой к особо опасным. И уже блаженно засыпая, я слышу их приветствия: «Ну, политик, ну уважил, сто лет так не ели».

Поздно ночью составознобно дернулся, как человек поднимается после тяжелого сна в глухом похмелье и движется подневольно. Я проснулся от лязга кормушки: любитель поэзии из охраны протягивал мне бутылку портвейна. Я выпил и ликовал – счастливым посошком на дорожку начинался мой долгий путь.

Вагон надрывался, стонал и выл. Кружку воды давали утром, кружку воды – вечером, и раз в сутки выводили в туалет. Все требовали воды и туалета и дергали заспанный конвой, который, даже и старайся, не мог обеспечить всем человеческие права.

В других купе ехали бабы, и перекличка шла с утра до вечера. Что сексуальные романы и фильмы Запада! Что крик моды извращений! Здесь говорилось такое, что не снилось великим сексологам свободного мира…

В туалет водили под конвоем, и вот на этом пути передо мной остановилась моя Богиня. Она протянула свой тонкий пальчик через решетку, и белоснежные ее волосы коснулись меня. «Я слышала, что Вы поэт». И впервые моя нелепая профессия показалась мне привилегией. «Я интересуюсь искусством. Напишите мне стихи, я Вас прошу». А конвойный как-то жался к стене, не внимая крикам вагона: «Воды, начальник, воды, воды!» Потом вполприказа, вполоправдания конвойный попросил Богиню пройти. Она отвела взгляд от моего смущенного лица и обернулась к конвоиру: «Сука ментовская, гад, ты же знаешь, что у меня бессрочка, на месте зенки выколю, козел, педераст!» И вновь обернулась ко мне: «Извините за стиль, приходится». Я глупо улыбался, а Богиня, возвращаясь после оправки по коридору вагонзака, скромно склонила глазки передо мной.

Вскоре покорный конвоир принес от нее рисунки, исполненные карандашом на клочках грязной бумаги. Рисунки эти изображали обнаженных женщин с той трогательной долей сексуальности, которая доступна людям только в тюрьме.

Мой дорожный роман захватил публику вагонзака куда сильнее, чем романы Марии Стюарт шотландцев. В пересудах слышалось тайное уважение к моей пассии, и только один из особо опасных решился на открытый монолог: «Земляк! – кричал он под стук колес. – Политик! Слушай меня!

Конечно, она – баба клевая, но не пишись ты на это дело, пропадешь. Я же растряс конвой, мне все сказали – десять мокрых дел! Эта тебе не пара!» – «Ты что, с ума сошел! Она же еще ребенок», – кричал я в ответ. «Нашел детей на лагерном этапе! Смотри, таких красоток немного, но если она тебя окрутит, то за любой взгляд налево получишь нож в спину, как от конвоя пулю. Такие ничего не прощают. Она из Свердловска. Ты же знаешь, Свердловск – та вольная пересылка, где разное мудачье, назаработав северных шальных денег, летуны, командированные, начинают спускать их. С ними твоя любовь и работала, нет, не блядью, эта птичка полетом выше. У них была компания – она, ее подруга и трое пацанов. Они заходили в кабак, и девицы заказывали коньяк с мороженым, а пацаны садились в стороне и брали портвейн, мол, алкоголики, из завербованных студентов. Ну ты же понимаешь, что тут происходило. Ты вот сам ебальник раскрыл, хоть баб небось видел, а эти фраера с Севера липли как мухи, кидали червонцы, не знали, чем угодить. А девочки разыгрывали из себя комсомолок, пили коньяк, закушивали мороженым и смотрели, у кого денег больше. А потом скромно соглашались пройтись по ночному Свердловску и полюбоваться на красоты строек коммунизма. Пацаны выходили через пять минут из кабака и догоняли их в условном месте. Работали ножами и следов, кроме трупов, не оставляли. Но разок твоя любовь просчиталась, что и принесло ей счастье с тобой познакомиться. Вышли из кабака с тремя летчиками, а у тех при себе оружие. И когда подошли мальчики, началась бойня. С финкой против пушки не попрешь. Двоих пацанов летчики замочили, а твоя принцесса ухитрилась уложить двоих летунов насмерть. Третьего убил один из парней. На выстрелы потянулись менты со всего города. Девицы убежали, но парень был раненый и далеко не ушел. То ли ему обещали помиловку, то ли в бреду наговорил лишнего, но девочек через пару дней взяли. Теперь, земляк, твою любовь везут в Свердловск, говорят, там нашли еще четыре трупа плюс к десяти, которые за ней числятся. Расстрелять ее не могут – малолетка, нет восемнадцати, а десятка обеспечена.

Так что смотри, земляк, тебе решать, я б с такой не связывался – загонит в гроб и только улыбнется». Вагон напряженно молчал. В висках у меня стучало: «Не может быть, не может быть, неправда!» И вдруг отчетливо прозвучал ее голос: «Ну что, поэт, испугался или рассказ тебе не по вкусу? Желаю тебе встретить меня на воле, а стихи напиши, раз обещал». Я написал стихи…

Давно замечено, что дорожные романы – самые ослепительные.

* * *

На второй день дверь моего королевского купе открылась, и конвой ввел в мою обитель молодого парня. «К тебе, как в кабинет министра, только за крупную взятку пускают», – сказал он радостно. Может, опять наседка, пронеслось в голове, но тут же знакомый стыд, от которого всю жизнь не мог отделаться, принесший мне вровень и горя и радости, охватил меня: нельзя не доверять людям… Парень как-то ловко устраивался, раскидывая по углам свой скарб. Чувствовалось, что не в первый раз он катается в этом невеселом поезде… «Удивлен, наверное, что соседа подбросили, – напрямую спросил он. – Да я не за место это барское шмотки свои отдал. Поговорить хочется, я ведь тоже из Москвы. Всю юность там прокантовался. Знаешь, москвичей в зонах не любят, за фраеров держат. У всех компании: по землячествам держатся, сибиряки к сибирякам, татары к татарам, и только москвичи – не пришей к пизде рукав. Наши столичные сами виноваты, то фарцовщиком окажется, то спекулянтом. Да и зависть к нам понятна. В Москве-то сытнее и с барахлом проще, а поди пропишись в столице». Все это я слышал не в первый раз еще на воле. Говорили мне со скрытой недоброжелательностью: «Ну как там у вас, что продают?» И охватывало меня чувство неловкости, как будто сам я был повинен в знаменитой паспортной системе, по которой имел право проживать в «столице мира», в отличие от других.

«Извини уж, что потревожил твое одиночество, – продолжал мой новый попутчик, – но вот услышал – политик этапом идет из Москвы, интересно мне. Я и раньше много читал, а за пять лет лагерей все, что достать можно было, чуть не наизусть выучил. А что в лагерной библиотеке достанешь, Ленина да Горького, такое и под страхом карцера читать не захочешь – с души воротит…»

И начались наши этапные бдения. Я читал ему подряд все стихи, рассказывал все, что знал и не знал, и горько жалел о том, что мало занимался самообразованием. Когда мой слушатель

понял, что я совсем иссяк и охрип, он рассказал мне свою странную историю, в которую я сначала и не поверил: «Понимаешь, характер у меня дурной, не могу на одном месте жить, сколько я профессий перепробовал, даже летное училище кончил, в скольких геологических партиях побывал, не счесть. Забросило меня как-то в город Ногинск, в технике я разбираюсь, вот и пристроился неплохо. С бабами у меня проблем никогда не было, парень я ловкий, если уж какая из подруг моих начнет от ревности в истерике биться, я собираю шмотье, беру расчет на работе и смываюсь в другой город. Но подзалетел я из-за приятеля. Хороший парень, работяга, за инженера канал, и выпить-погулять любил. Только жена у него была очень ревнивая и меня ненавидела за то, что мы с ним время вместе проводили – в атмосфере интеллектуального трепа и шарма мимолетных встреч. Вот закатился я как-то к Толику со своей знакомой, Машей ее зовут. А она хороша собой, смесь непонятных кровей, и в глазах татарская скрытность и страсть. Посидели, выпили. Жена Толика на работе. Он и завелся: „Поделись, – говорит, – друг“. А мне-то что, не жалко, я взял недопитую бутылку – и в соседнюю комнату. Ну, у них там и началось. Только жена его нежданно-негаданно возвращается с работы в самый, так сказать, интересный момент, ну и начался скандал. Я Толику говорю: „Пойдем, пускай они меж собой разбираются“ – и ушли в вечерний туман. Ну откуда я мог знать, что Маша моя и Толика жена – подруги со школьной скамьи?!

Утром Толик явился на работу, а его по парткомам и завкомам таскать начали – за разврат. Только мы с ним собрались в другие города и веси отчалить, как нас тепленьких взяли и поволокли куда следует. Оказалось, Толикова жена, побив изрядно Машу, пристала к ней с ножом к горлу: „Или пиши в милицию заявление об изнасиловании, или ославлю на весь город“. Маша и согласилась. Решили попугать нас с Анатолием.

На всякий случай, для большей убедительности, даже „сняли побои“, то есть зарегистрировали у врача два Машиных синяка, которые поставила ей Толина супруга. Милиция сразу же передала „дело“ в прокуратуру. Я поначалу никак не мог в толк взять, каким образом угодил за решетку. Но все разъяснилось: подруги наши во избежание моего свидетельства в защиту Толика изложили дело так, что и я оказался участником изнасилования. А Толика жена расписала, как она застала нас на месте преступления. Получилось групповое дело с отягчающими обстоятельствами – особый цинизм и побои. „Особый цинизм“, по мнению следователя, заключался в том, что „преступление“ было совершено под кровлей семейного очага. Следователь наш был из

молодых комсомольских рвачей и с первых дней нас возненавидел. Особенно его бесило, что мы оба никак его власти над нами признавать не желали, а на все угрозы просто смеялись ему в лицо. То ли комплекс неполноценности сыграл свою роль, то ли уж очень хотелось ему показать перед начальством, какой он принципиальный, но субъект этот просто рвал и метал, и твердил, что мы получим по червонцу, если не раскаемся и не признаем правоту версии следствия.

Да тут еще возникли отягчающие обстоятельства. Как всегда, запросили завод, на котором мы занимались построением коммунизма, и получили характеристики далеко не восторженные, и вот почему. Оба мы считались великими рационализаторами, и все их планы, о которых они партии и правительству рапортовали, на нас только и держались. Так что когда мы собрались податься в другой город, чтобы скандал замять, и подали на расчет, начальство наше схватилось за головы и упрашивало остаться, сулило зарплату повысить, но мы были непреклонны. Теперь нам это отлилось. На запрос прокуратуры заводские власти расписали нас как лиц антиобщественных, припомнили все – и отказ от участия в партийно-комсомольской работе, и наши интеллектуальные беседы, и разные недостойные советского гражданина высказывания. Следователь потрясал этой бумагой, и хоть не из пугливых я, продолжал посмеиваться, но уже понял, что песенка моя спета.

Подруги наши, наконец, поняли, что малость переборщили, и кинулись в милицию, чтобы забрать назад свои заявления, но там их и слушать не стали. В прокуратуре наш ретивый комсомолец разъяснил им, что с законом шутить нельзя, что наш советский закон – самый гуманный и справедливый, потому он заявления им не вернет. Написали наши красавицы в высшие инстанции, но оттуда, как и положено, их отчаянные отречения вернулись к нашему следователю. Тот вызвал отрекшихся праведниц и, показавши им кучу бумаг, заявил, что на них заведено дело за дачу ложных показаний, что получат они по три года, а нас, мол, все равно не выпустят, так как в ходе следствия вскрылись новые факты нашей преступной деятельности.

Так он их запугивал, даже выписал санкцию на содержание под стражей. Бабы наши этих хитростей не знали, благо университетов не кончали, и, совсем отчаявшись, согласились забрать свои отречения, что и требовалось нашему служителю Фемиды. Но подруги еще надеялись на суд.

Друзья наши на воле забеспокоились, даже заводские власти одумались и написали в суд, что хотя мы являлись

антиобщественными элементами, но работали добросовестно, и завод готов взять нас на поруки.

С подругами никто в городе не здоровался, ибо суть дела всем стала ясна, о нашей трагикомической истории говорил весь город. Так что когда мы оказались на скамье подсудимых, зал был полон сочувствующими. Ну и началась эта комедия. Свидетели, они же пострадавшие, подруги наши, вновь отказались от обвинения и стали рассказывать, как следователь их запугивал. Но суд прервал их на том основании, что к делу это якобы не относится. Судья только спросил у Маши: „Значит, вы отрицаете, что вас изнасиловали, и говорите это со всей ответственностью, понимая, какие могут быть последствия?“ – „Да! Да! – крикнула Маша. – Пусть лучше меня сажают, я их оклеветала, просто боялась, что блядью ославят! Такого наговорила, что хоть вешайся!“ Суд удалился на совещание. Ну и прозвучало всем нам так знакомое „Именем Российской Федерации“. Суд признал нас виновными в групповом изнасиловании при отягчающих вину обстоятельствах и приговорил Толика к десяти, а меня – к семи годам усиленного режима».

Попутчик мой усмехнулся и вытащил из кармана телогрейки помятый листок – копию приговора: «Вот сколько стоит свободная любовь при социализме». Он протянул мне украшенную штампом бумажку. Приговор не оставлял сомнения в правдивости рассказа: «Именем Российской Федерации…».

Но строкам приговора предшествовал уникальный текст: «Суд не может принять во внимание заявление Марии Н. о том, что прежние ее показания об изнасиловании были ложью. Суд также не принимает во внимание аналогичное заявление жены подсудимого Анатолия К. Суд считает, что оба эти заявления на суде сделаны из чувства ложной жалости к подсудимым.

Суд выносит определение в отношении пострадавшей и жены подсудимого. Суд отмечает, что их поведение в зале суда противоречит их гражданскому долгу. Суд направляет это определение по месту работы пострадавшей и свидетельницы с тем, чтобы общественные организации обратили внимание на их недостойное поведение…»

«А вот и сама пострадавшая», – сказал он, протягивая мне пачку фотографий «роковой женщины». «Откуда это у тебя?» – изумился я. Попутчик мой тяжело вздохнул: «Не все в жизни, политик, кончается приговором. Когда суд объявил нашу судьбу, зал так взволновался, что пришлось нарядами милиции людей разгонять. Супруга Анатолия билась в истерике и все порывалась броситься перед скамьей подсудимых на колени. Анатолий только скривился: „Ну что, гадюка, добилась своего, вернула в

лоно семьи?“ – „Толик, брось шуметь, – оборвал я его, – ты хоть за удовольствие срок огреб, а я-то – за сочувствие твоей пламенной душе!“ – „Прости, прости меня, старик, – чуть не в голос плакал Толик, – одним себя утешаю, что на три года больше получил“. Маша стояла в дальнем углу зала и горько плакала. Конвой уже разводил нас по боксам, этапам, лагерям. Что с Толиком сейчас, я и не знаю. Переписка между зэками запрещена.

Настроение у меня поначалу было невеселое – мало того, что семерик ни за что ни про что схлопотал, так еще статья такая поганая, в лагерях все смеются: за лохматый сейф посадили, ничего себе взломщик, Джеймс Бонд. Сперва худо было, но потом мало-помалу завоевал уважение. Бит бывал сильно, но и насмешек сам тоже не спускал. Один раз не ответишь – потом затравят. И вот через три месяца, когда освоился я на лагерной зоне и малость оклемался, вдруг получаю я письмо от Марии, как она мой адрес узнала, ума не приложу. Видно, долго обивала пороги управления мест заключения. Письмо как письмо, я бы и отвечать не стал, но уж слишком много в нем тоски было. Писала Маша, что жена Толика из города уехала со стыда, а ей, Маше, деться некуда, да и бежать как-то стыдно, потому что презрение к ней считает заслуженным, и снова эта фраза, как и на суде, – „хоть вешайся“. Меня особенно тронуло, что презрение заслуженным считает. Не ответишь – еще возьмет грех на душу. Девка она во всем страстная, вдруг и вправду что-нибудь сотворит над собой. Маша писала еще, что приехать хочет, „хоть прощения по-человечески просить“. Ну я ей и отписал, что зла на нее не держу, но свидание в лагерях разрешено лишь с законными женами, а если штампа нет в паспорте, то справка нужна, что жили вместе и имели «общее хозяйство», да и то дают свидание в исключительных случаях. На том я и пожелал ей светлой жизни и приятных встреч.

Я и думать забыл о своей прекрасной Марии, как вдруг вбегает в барак вертухай и кричит мне с порога: „К тебе жена приехала!“ – „Ты что, – говорю, – что я тебе, фраер, такие шутки со мной разыгрывать, какая у меня жена! Матрасовка на нарах – вот моя жена“. – „Да нет, – кричит надзиратель, – такая клевая баба приехала, бумаги начальству показывает. Они там сейчас решают, свидание-то тебе не положено, но, может, исключение сделают. Все-таки не одну тысячу километров баба проехала, пока до нашей Сибири добралась“. Начальство решало сложный вопрос, а вся зона уже знала новость. Блатные просто со смеху покатывались: „Ну, москвич, впервые такое видим, чтоб пострадавшая от изнасилования в зону как жена приезжала. Видать, крепкий ты мужик. Вот история, сперва засадила парня

на семерик, а потом утешать явилась! Да ты, пацан, не смущайся, хрен с ней, все лучше, чем дрочить, и жратвы, может, какой привезла, что тебе стойку держать. Поговори с ней, может, она Генеральному прокурору напишет на помиловку, глядишь – освободят, а там поговоришь с ней от души, за все рассчитаешься“.

Через час меня вызвали на вахту, и зона замерла в ожидании развязки драмы. Вопреки установленному порядку, начальство дало разрешение на личное свидание на двое суток, плечами пожимали – пострадавшая, а бумагу привезла, с печатью, что общее хозяйство вели. Меня тщательно обыскали и ввели в комнату для свиданий.

Маша, не дожидаясь, пока конвой закроет за мной дверь, стала как-то тупо и прерывисто шептать: „Прости меня, прости меня, прости…“ Мне пришлось ее долго успокаивать. Я гладил ее по волосам, целовал… Двое суток пронеслись, как один час… Маша рассказала, что ездила в Москву, и в Верховном Совете ей объяснили, что помилование возможно только после половины срока. А жалобы генеральному прокурору просто пересылают в Ногинскую прокуратуру, где их аккуратно складывают в ящик.

Она приезжала ко мне положенный раз в полгода, и начальство беспрекословно давало нам свидания.

Через три с половиной года Маша написала на помилование и сама отправилась за ответом в Президиум Верховного Совета. Но там ее как встретили, так и проводили: „Не надо заявлений писать, вы уже раз опровергали свои показания, нечего людям голову морочить, нам что, из-за вас Верховный Совет собирать?“

На очередное свидание Маша приехала вся в слезах, клялась и божилась, что не оставит это так. „К кому же ты пойдешь, – только усмехнулся я. – Не к кому идти“. И прощаясь со мной, клялась и божилась, но сама, видно, надежду потеряла, что я скоро выйду на свободу, что жизнь ее наладится. Письма стали приходить все реже, и вот уж год прошел, как ни одного не написала. Бог с ней, я зла не держу.

Но на лагерное начальство измена „пострадавшей“ почему-то произвела сильное впечатление, они так гордились своей гуманностью, предоставляя нам незаконные свидания, и теперь прямо-таки считали себя оскорбленными в лучших чувствах. Не надо тебе объяснять, что из карцера я, конечно, не вылезал, то водки достанем, то чифир варим, но начальство все же относилось ко мне сочувственно. Любовные романы всем щекочут нервы, даже палачам. И вот, несмотря на все мои нарушения, они написали бумагу с просьбой заменить мне остаток срока на „вольное поселение“. Теперь на стройку коммунизма везут… Да

ты, политик, не грусти, не волнуйся, не так уж там в лагерях и страшно, держись, как-нибудь прорвемся…»

* * *

Поезд подходил к Свердловску. В городе этом, на центральной пересылке Транссибирской магистрали, сходятся почти все этапы. На этой Свердловской пересылке я тяжело заболел – воспалением легких. Врача не допросишься. Глаза застилает тяжелая пелена. Если бы не мой попутчик, дела мои были бы совсем плохи. Он шел со мной через все шмоны, тащил кешер, подкупал конвой, и в страшных боксах и переходах мы были вместе. Наконец после бань и прожарок мы попали в камеру, рассчитанную на 20 человек, а поместили в нее 120 зэков. Окно выбили, так как иначе можно было задохнуться. Но Свердловск не баловал погодой. В эту зиму температура колебалась от 40 до 50 градусов. В углу окна образовался ледяной налет толщиной около метра. Я сбросил свой мешок на пол и с трудом мог устоять на ногах, присесть было негде. Попутчик мой взглядом знатока окинул нары. О чем и с кем он говорил, я уже не слышал. Смутно помню, как чьи-то руки подняли меня, блатные на нарах расступились и дали мне место. Я очнулся только через сутки. Друг мой склонился надо мной: «Политик, мы уже второй день двери разносим, но врача не дозвались. Приходил корпусной, грозил расправой за политический бунт». Я медленно приходил в себя. Моими соседями по нарам оказались блатные из Нижнего Тагила. За пахана у них шел крепыш примерно моего возраста. Вопреки блатным законам, его не называли по кличке, а обращались к нему по имени: «Вовчик», «Володя». Он обратился ко мне: «Слышь, парень, ты что и вправду – политик, да еще поэт? Или нам землячок твой лапши на уши навешал? Пойми ты, – переходя на полутон, добавил он, – своего блатного с нар согнали, чтоб тебя положить, сам понимаешь, подтверждения нужны. Здесь люди места на нарах по три месяца ждут». Я порылся в кармане телогрейки и вытащил уже потрепанную копию приговора Московского суда. Вовчик зачитывал ее вслух. Воцарилась тишина. Далекая от центра мира – Москвы, Свердловская пересылка ничего понять в приговоре не могла. Вовчик тоже плохо понимал значение слов и суть дела, но с наслаждением произнес: «Вопреки политике КПСС… Виновным себя не признал…». Начался всеобщий гвалт, а я снова лишился сознания. Снова колотили в дверь, вызывая врача. И зачинщика

беспорядков, попутчика моего, перевели в холодный карцер. Больше я его не видел…

Чад махорки и пар из разбитого окна вздымались по стенам камеры, как дым сожженной земли.

Через несколько дней мне стало лучше. Я читал новым знакомым стихи, и они жадно записывали в сшитые из туалетной бумаги книжки, ровно ничего не понимая. Днем они пели романсы, ночью рассказывали о себе, путаясь в собственной фантазии. Вовчик молчал и только иногда просил прочитать какое-нибудь из стихотворений, особенно понравившееся ему, но чтобы не терять достоинства пахана, он ничего не записывал. «Вовчик, – спросил я как-то, – как же ты залетел?» – «Да уж вторая ходка, – нехотя ответил он. – Понимаешь, все подмывало силу перед другими показать, да и дружки подбивали, так и попал за драку в колонию для малолеток на перевоспитание, к активу подрастающего поколения, с лозунгами. Бьют в лицо, если не с той ноги в сортир пошел, говно в рот запихивают, если слово против сказал. Ну да я не сдавался, все, кажется, мне отбили в теле, но на колени ни разу не поставили. Я парень сибирский, с меня как с гуся вода. Вышел из колонии и сразу решил на самую тяжелую работу – в горячий металлургический цех. Надо мной работяги потешались: «Ты хоть и крепок, но хуй сломишь, мы кровью харкаем за свои 350 рублей, куда уж тебе». А у меня мысль в голову запала. Пожить хотел так, чтобы вся эта ментовня, которая на воровстве и чекистских поблажках живет, а пацанов за пять рублей стыренных на три года за Можай загоняет и калечит, – я хотел, чтобы они руками разводили и слюну пускали, глядя на меня. Много у меня идей возникло, пока сидел да по больничкам валялся после побоев подрастающей смены, которая из уголовников сразу в активисты лезла. Ребята у меня были надежные, концы я сразу нашел, слава обо мне была, что не сломали в малолетке, по всему городу. Верили мне и не боялись, знали, что не подведу. Но я-то под надзором был: даже если не воруешь, десять раз на день спросят, на что пьешь. Вот я и пошел на каторжную эту работенку, а по вечерам делами своими занимался, что мне их социалистическая собственность, все равно партийная сучня разворовывает. Я простых людей не обижал. Но уж гулял я по банку как следует. Милиция каждую неделю: на что пьете, а я им справку – 350 советских получаю, хочу пью, хочу нет. Ребята с завода, конечно, знали, что никаких я не 350, а три тыщи в месяц пропиваю, и все за меня радели: зачем тебе это надо, завязывай, посадят тебя, такие деньги получаешь, жить да жить, бабой бы хорошей обзавелся. А я гнусь, как негр, пред этой проклятой плавкой, и в огне этом мерещится, как бьют меня в

зоне, в ленинской комнате активисты, как топчут надзиратели. Нет, думаю, не задаром я спину гну, хоть год, хоть еще день, но погуляю выше ихнего. Знаешь, от чего я кайф ловил: сижу, как всегда, в лучшем кабаке со своею компашкой, а за соседним столиком партийная бесовня заезжего гостя потчует, да глаза на наш стол таращат, каких деликатесов им ни принесут, у нас вдвое. У них бабье – затруханные секретарши, а у нас – лучшие девки Нижнего Тагила, стюардессы, танцовщицы, заводские – все как на подбор. Жуки эти захмелевшие заказывают советские песни – из тех, что по телевидению крутят, а мы оркестру втрое больше денег кидаем. Лабухам, конечно, боязно – и хочется и колется, и кланяются они товарищам высокопоставленным: извините, мол, у нас по порядку, другие заказы раньше были. И отчаянно исполняют нашу:

И оставила стая среди бурь и метелей
С перебитым крылом одного журавля…

Власти из кожи лезли, подловить хотели, а ничего не докажешь. И тут угораздило меня влюбиться. Может, громко сказано, но привязался я к одной девчонке, всегда этого остерегался, а тут влип. Девчушке всего-то шестнадцать лет. Из школы ушла, на заводе работала. А мне уже за восемнадцать перевалило, под статью о совращении малолетних подходил. Ее, конечно, начали таскать в разные инстанции, но она и разговаривать ни с кем не стала. К матери ее прицепились, но старуха тоже молчок, ничего, мол, не знаю, не ведаю. А у нас такая любовь, что я даже гусей прекратил дразнить – в кабаках стал вести себя, как Чемберлен на приемах. Но менты и партийцы обид не прощают. Выхожу я как-то со своей компанией из ресторана и чувствую – неладно что-то. Стоит один бес с красной повязкой, а рядом целая кодла комсомольцев-добровольцев. Парень этот с разгону подлетает к моей красотке и орет: шлюха, блядь, с подонками связалась, мы с тобой в штабе народной дружины разберемся, ты же комсомолка! Ребята мои так и оцепенели. А у меня в голове как будто шарики в биллиарде бегают и все в лузу не попадают. Я только крикнул своим – в расход, нельзя всем садиться, и ударил этого фраера, но тут, конечно, весь кодляк оперативников на меня навалился. А ребятки мои, нет доброго совета от пахана послушаться, тоже вступились. Вот они рядом на нарах и лежат. Мне семерик дали, а им по три, под срок подвел пацанов. Девушку мою жалко. Она и на суде была, как невменяемая, на конвой кинулась, еле из зала суда выволокли. Все кричала: я жду тебя, я жду. А что тут ждать.

Семь лет – не год, замуж выходить надо. Свидания мне с ней не дадут, не расписаны мы. Хорошо еще оперативник выжил, твердолобый оказался, а то он долго в больнице лежал, и я уж было к расстрелу приготовился».

Камера наша, в которую, казалось бы, нельзя больше втиснуть ни одного человека, каждый день пополнялась десятью. Говорили, что из-за лютой зимы, где-то на дальнем севере, рельсы не то покрылись льдом, не то лопнули, что этапные вагоны остановились надолго. И действительно, большинство моих сокамерников торчало в Свердловске по 3–4 месяца. Я все пытался уступить свое место на нарах, хотя бы временно, но жар продолжался, и мои тагильские друзья удерживали меня силой. Они не менялись местами: тунеядцы, колхозники и бытовики не вызывали у них уважения: «Брось, поэт, – говорили они, – это тебе не политическая тюрьма, сделай им добро, они на шею сядут и скажут другим, что тебя надули. Это закон лагерей. Куда ты, на хуй, от него денешься?»

Однажды в нашу камеру подбросили еще десятерых. По тону их разговора и по манерам было понятно, что не в первый раз их перебрасывают из зоны в зону долгими этапными путями. Они держались вместе. Прямо от двери начали ногами расшвыривать сидящих на полу «бытовиков» и «колхозников». «Воры есть?» – крикнул фиксатый верзила, бросив взгляд на верхние нары. Вовчик чуть приподнялся на локти и процедил сквозь зубы: «Воров здесь нет, здесь все отворовались, воры на воле». Пассаж этот показался фиксатому значительным, и бравая десятка принялась за нижние нары. Вскоре нужные места были освобождены, и наши новые соседи занялись самообеспечением. «Землячок, – кричал фиксатый скромному пареньку, забившемуся в угол, – на что тебе такая шапка, давай махнемся не глядя». И при этом бил его по печенке довольно профессионально. Компания фиксатого обирала других. Вовчик повернулся ко мне и вдруг сказал, как бы извиняясь: «Я их ненавижу, это шакалье и бакланье, но как я могу на смерть вести своих ребят. Ты же знаешь лагерный закон – можно вступиться только за своего, а они над колхозниками и бытовиками издеваются». Мародерство продолжалось. На следующую ночь, проснувшись после недолгого забытья, я услышал голос Вовчика: «Я этого видеть больше не могу. Знаю, нас четверо, а их десять, и едут они из зоны, а не из тюрьмы, – значит, шмоны не те были, у них бритвы есть, а может, и ножи. Но больше не могу. Хватит им гулять. Затачиваем ложки, все равно всю жизнь по лагерям корячиться. Но я вас не уговариваю». Алюминиевые ложки заскрипели о железные нашивки нар. Утром бакланье, как всегда, принялось за работу. С

какого-то мужичка сняли шарф и вручили ему взамен грязное полотенце. Один из тагильцев спустился вниз и заявил, что шарф его. «Как это твой, – взбеленился фиксатый, – он же мужик, ты с ним кентоваться не можешь». Тагильский процедил небрежно: «Шарф мой, дал поносить на время этому вахлаку, от ангины, а ты шакал и подлюк» – и быстро закрылся от первого удара. Вовчик и ребята тут же кинулись в бой. В ход пошли бритвы и заточенные ложки. Я соскочил с нар последним, и как раз в тот момент, когда в руках у фиксатого сверкнула финка. Каким-то чудом мне удалось вцепиться ему в плечо, остальное сделал Вовчик. Он свалил фиксатого с ног, и блатные стали отступать к дверям. Через минуту в камеру ворвались надзиратели. Вовчик успел отпихнуть меня в дальний угол камеры. Забрали в карцер по простому принципу – всех, кто был в крови, в том числе и Вовчика. Затем по одному таскали к начальству мужиков, но нового дела ни на кого не завели. И шакалов, и тагильских из карцеров не выпускали до конца пребывания на пересылке. По неписаным лагерным законам Вовчик и его ребята не могли объяснить причины драки, так как это считается доносительством. Мужики же молчали, боясь расправы.

* * *

Через две недели прозвучало уже знакомое: «На выход с вещами», – и снова застучали этапные колеса, уносившие меня в глубь Сибири. Еще одна пересыльная тюрьма, еще с десяток изнурительных шмонов, и воронок доставил меня к воротам вахты уголовного лагеря «Тюмень-2».

Впрочем, в официальных бумагах заведение это торжественно именуется исправительно-трудовым учреждением, ибо, как всем известно, концлагерей при социализме не существует.

Я простился с последними вольными атрибутами – из своей одежды на зоне позволено лишь нижнее белье, по две пары. Хлопчатобумажный костюм без воротничка, кирзовые сапоги и ватная телогрейка – вот единственный и неповторимый наряд всех зэка Советского Союза. Этап принимало все руководство зоны. По одному вызывали в кабинет начальника лагеря и распределяли вновь прибывших по отрядам. Последним вызвали меня. Кроме офицеров, в комнате находился здоровенный детина с повязкой члена секции внутреннего порядка. Указав на меня повязочнику, начальник лагеря коротко бросил: «Гнуть». Последовал понимающий кивок.

Еще на пересылке я узнал, что иду на сучью зону, что секция

внутреннего порядка (СВП), учрежденная во всех лагерях СССР, в Тюменском лагере особенно зверствует, что усердию вставших на путь исправления уголовников нет границ…

По пути в барак повязочник объявил мне, что зовут его Иваном, что он у меня будет бригадиром и я у него попрыгаю. В секции барака оказалось 50 двухэтажных железных коек, одна из которых была отведена мне в общем с бригадиром «купе».

«Москвич! За что такая честь! Ты кто – блатной или активист? За что сидишь?» – загудел барак. «Кончай базар, – заорал бугор, – к новичку никаких вопросов. За что надо, за то и сидит. Спите, гады. А ты смотри, помалкивай, не то голову оторву», – отнесся он ко мне.

На следующий день на моей койке, как и на всех остальных, висела табличка: имя, фамилия, год рождения, статья, срок, конец срока. Номер моей статьи 190 ч. 1, 3 вызвал удивление. На все вопросы я отвечал уклончиво. Никто о такой статье не слышал, и я понял, что придется объяснять. После отбоя барак долго не успокаивался, несмотря на окрики бригадира. Как только гас свет, начинались разговоры, травля анекдотов и взаимные насмешки. «Так что ж, москвич, за что ты сидишь?» – раздался голос из тьмы. «За политику», – ответил я. «Сказано было тебе помалкивать», – прозвучал снизу голос бригадира. И уже громко, на весь барак: «Какая там политика – просто хулиганство». «Темнишь ты что-то, бугор, – раздалось из другого угла. – Мы статью по хулиганке хорошо знаем, а у пацана совсем другая, может, и правда – политика. Комсомолку, может, невзначай выеб». – «Иван, – сказал я как можно более спокойно, – ты же врешь, тебе-то начальство сказало, что я сижу за демонстрацию на Красной площади».

«Демонстрация», «Красная площадь»… – мне и самому эти слова вдруг показались нелепыми в смраде барака, обращенные к сибирским мужикам, многие из которых и поезд впервые увидели, когда их везли в этот лагерь этапом. Слова эти звучали неестественно. Было ли все это в действительности, или ничего, кроме серой робы, телогрейки и метели, никогда не было и не будет. Я похолодел от этой мысли, от этого ощущения, которое преследовало меня потом все три года моего заключения.

«Я тебе сказал – молчать! – орал бугор снизу. – Ты у меня кровью харкать будешь. Какой ты политик! Все вы в Москве, интеллигенты вшивые, за жвачку иностранцам продаетесь». – «Иван, ты же знаешь, за жвачку на три года добровольно не идут», – ответил я. Но он никак не мог уняться: «Против народа, против советской власти пошел. За чехов заступился, мы их спасли, а они нас немцам продали!» – «Я, Иван, не против народа,

я против коммунистов». Такого оборота бугор никак не ожидал. «Как то есть против коммунистов! Я тоже был коммунистом до ареста, значит, и против меня!» – «Да, честным ты был коммунистом, если тебя за хищение государственной собственности на пять лет упекли». – «Я провинился, но я честным трудом исправлю все», – орал он. – «Да уж как же, а то ты не знаешь, как твои товарищи по партии воруют, просто ты попался, а они нет. Коммунисты твои пустили в расход при Сталине ни за что ни про что десятки миллионов, а потом извинились, ошибочка, мол, небольшая вышла, лишка двинули и живут теперь припеваючи. А тебя за какие-то 3 тысячи рублей упекли на пять лет. И ты все за них горой». – «Ну-ка встань и пойдем выйдем, разберемся!» – закричал бугор. Барак затих. Даже со здоровенными сибирскими мужиками бугор мог справиться одной левой, что уж говорить обо мне.

Иван легонько подталкивал меня в спину, ведя по узкому проходу между койками. «Иди, иди, политик, сейчас наговоримся». Мы вошли в каптерку, ключи от которой были только у бугра. «Закури-ка „блатных“», – неожиданно предложил он, протягивая «Беломор». Я закурил. Мы долго молчали. «Слушай, Вадим, – обратился он ко мне впервые по имени, – ты меня тоже пойми. Мне ведь тебя приказали гнуть, сам понимаешь, начальство за каждым твоим шагом следить будет, и за мной тоже – как я приказ исполняю. Меня же на досрочное освобождение готовят, жена одна с сынишкой, я уже почти три года маюсь. Но я, блядь буду, вторую ночь не сплю. Я в политике не особенно понимаю, хоть в школе за умного считался, а потом с учительницей жил. Я не знаю, прав ты там, не прав, кто там разберет, но мне одно покоя не дает. Ты за идею какую-то сел. И никак у меня не получается, объяснить себе не могу, как это я прос то за кражу сижу и могу над тобой издеваться, если ты бескорыстно на срок пошел. Не знаю, что и делать. А что воруют все, так это мне объяснять не надо. Вот начальник лагеря, коммунист хуев, требует от меня, чтобы я втихую с лесобазы нашей стройматериал для его дома вывозил. А на лесобазе начальство есть из вольных, могут донести. И снова суд, и срок продлят. А начальнику не потрафишь – на условно-досрочное освобождение не представят. Теперь ты еще на мою голову. В общем, что-нибудь да придумаем, у меня все эти 100 мудаков, вся бригада, в таких рукавицах, что не выпрыгнешь. Придумаю что-нибудь, иначе ты не выживешь, куда тебе против нас, мы и то загибаемся, а ты… Только при мне никаких разговоров за правду не веди. А то они тебя за пачку сигарет продадут и меня по делу потянут, за попустительство».

Барак не спал. Барак недоумевал, наблюдая, как я возвращаюсь к своей койке. Барак ожидал окровавленного полутрупа…

* * *

Тянулись каторжные дни. Сразу же после побудки в барак врывались активисты и выгоняли заспанных трясущихся людей на удивительную экзекуцию – физкультурную зарядку на 45-градусном тюменском морозе. Не успевших одеться выталкивали босиком, скрывшихся в туалете наказывали лишением свидания с родными, положенного раз в полгода, или права на закупку в ларьке. На зарядку гнали даже из инвалидного барака. В зловещем лиловом свете зимнего утра безногие старики из последних сил махали своими костылями, похожие на диковинных птиц.

На завтрак водили строем и побригадно, и снова приходилось строиться и мерзнуть, а черпак липкой и холодной каши, в которой масло и не ночевало, вызывал особенно поутру приступы тошноты. Спасала столовая ложка контрабандного чая, заглатываемая всухую и запиваемая теплой водой. После мучительно долгого развода, пересчета по пятеркам, нас загоняли в железные фургоны-рефрижераторы и везли под охраной собак через весь славный город Тюмень на пойму реки Тура. В фургоне повернуться было невозможно, так забит он был зэками. После каждой такой поездки некоторые из нас оказывались серьезно обмороженными.

Но дорога казалась сказкой по сравнению с работой, которая ожидала нас на пойме. Распиловка и погрузка в вагоны штабелей леса вручную, погрузка сваленного прямо в снег приросшего к земле кирпича.

Казалось, что время стоит на месте. Красное, воспаленное от холода солнце только качалось над горизонтом и никак не клонилось к закату, к съему…

Бугор сдержал свое слово. Громогласно командуя, он направлял меня на самую тяжелую работу и давал тайный знак звеньевому из блатных Егору. Ему не надо было повторять дважды. Весь высушенный сибирской метелью и бесконечными дозами чифира, который он мешал с неизвестно где добытым спиртом, Егор носился среди штабелей леса, как летучий голландец меж рифами. Даже в самый страшный мороз он бегал по сугробам в распахнутой телогрейке, небрежно накинутой на майку. Никто не мог выдержать его взгляда, глаза его вспыхивали

и затухали, ослепляя встречного, как фары машины на ночном шоссе. Лагерное начальство предпочитало не иметь с ним дела. Он заканчивал пятилетний срок за кражу со взломом.

«Политик, – орал Егор, – беги в тепляк, в мою мастерскую, пила сломалась, я мигом приду». Я хватал электропилу и плелся в тепляк – пила, конечно, работала исправно. Через два часа появлялся Егор, он нес мне кружку чифира с долитым в него спиртом – лагерный коктейль. От этого напитка меня кидало из стороны в сторону. «Егор, – жаловался я, – мужики работают, а я здесь отлеживаюсь, совесть мучит». – «Молчи, политик, – ворчал он, – и других не обижу. Не первый год по Северу кручусь, знаю, как начальству мозги запудрить, да мужики и сами понимают, что не по силам тебе. Ну какой тебе выход. Отказ от работы – по карцерам затаскают, а потом во Владимирскую тюрьму переведут. Если уж в уголовный лагерь кинули, то и там со своими политиками тебя вместе не посадят, а с блатными в камере невесело. Сейчас людей с понятием – раз-два и обчелся. Да что ты с совестью своей ко мне пристал, я всю бригаду чифиром пою, благодарят меня, каждый день от обморозки их спасаю».

Егор не любил блатных, хотя, казалось, по всем признакам подходил к этой категории. И статья его по уголовным понятиям – уважаемая: кража со взломом, и держался он с начальством независимо. Но ни к каким группировкам никогда не примыкал. «Какое это ворье, – говорил он мне, – воров больше нет, со времен сучьей войны. Шакалье они все, а не ворье. Посмотри, как они мужиков обирают, цветные эти, только и ждут, как бы у кого передачу отнять. Я за весь свой срок мужика пальцем не тронул, любой бедолага лагерный у меня закурить найдет. А эта мразь – самим за кусок сала позориться стыдно, вот они пацанов с малолетки на мужиков натравливают, те им всю добычу приносят, а потом за них же в карцерах отсиживают, когда мужики на вахту жаловаться бегут. А блатные и в ус не дуют, гуляют по зоне и сало переваривают. Нет, политик, нету больше никаких законов в этом мире, никаких мастей. Есть с понятием ребята, путные, которые понимают, что западло, что нет. А есть эта шерсть блатная, сучня.

Вот посмотри на Лешу Соловья. Когда-то ведь королем зоны был, блатной до не могу, а сейчас отошел от всех, живет сам на сам, а скольким ребятам помог, сколько раз спасал, если кто поскользнется. А освободится кто из путевых ребят, все ему окольными путями кто деньги, кто водку передает, кто просто привет, а об этих шакалах никто и не вспомнит».

Егор часто попадал в карцер за драки с активистами, он не мог перенести, когда узнавал о расправах над пацанами с

малолетки за отказ вступить в СВП. Целыми днями ходил, как больной, а потом провоцировал хитроумно драку и бил до полусмерти верных прислужников лагерной администрации. «Понимаешь, политик, – говорил он мне, – я этих прихвостней коммунистических с юных лет ненавижу, стукачей этих. Сам я из Новгорода. Еще пацаном был, когда к нам интуристов возить начали, я уже работал тогда. Все с иностранцами встречаться боялись, запрет. Только избранно-проверенной сучне разрешение такое давалось, да и то под присмотром КГБ. А я плевать хотел на их инструкции, интересно было, что там у них за границей происходит, правда, английский я плохо знал, в школе не доучился, но на пальцах кое-как объяснялся с басурманами. Ну и, конечно, товарообмен с ними наладил. Когда самовар старый у какой-нибудь бабуси куплю и им тащу, когда прялку или другую рухлядь, а они мне за это шмотки давали, девки новгородские от моих нарядов направо и налево падали, хоть в штабеля складывай. Иностранцы у меня все иконы просили, но икон я им никогда не приносил. Я вообще-то неверующий, кто его знает, есть там Бог или нет. А только всегда чувствовал, что икону им за штаны загнать – это грех. Я еще когда в школе учился, все ходил церкви срисовывать, и так иногда на душе светло бывало… Так что я дальше самоваров и прялок никогда не заходил и валюту у них не брал, знал уже, что статья по валюте серьезная. Но сучня наша комсомольская, конечно, про дело это пронюхала, и вызвали меня на собрание по месту работы, хотя я к комсомолу имел такое же отношение, как ты к жене китайского императора. Обвиняли, что я родину продаю и играю на руку врагам, сделали последнее предупреждение и дали мне слово для покаяния. Я и высказал, что о них думаю: сучня, говорю, позорная, я от звонка до звонка вкалываю, а вы позанимали теплые местечки, да и там не работаете, с утра до вечера митингуете, то на бесплатные субботники людей сгоняете, то лекции читаете по бумажке, то на высшем уровне обсуждаете, кто с кем спит. Я, значит, родину продаю, сувениром с иностранцем обменявшись, а вы церкви все испохабили на собачьи свои агитпункты или картофельные склады. Патриоты вы на чужой счет! Тут хай поднялся, хотели за оскорбление партии меня попереть, но ребята заводские меня отстояли. А начальник заводской дружины предупредил меня с глазу на глаз, что подловит и со мной расправится. Я и знал, что подловят, и не ради шмоток, а просто из упрямства продолжал свои товарообмены. Один раз застукали меня дружинники в кафе с иностранцем и поволокли в милицию, даже переводчика раздобыли. Иностранец мой колонулся сразу же, хотя я его предупреждал, чтобы в случае чего он отвечал, что мы беседовали

о состоянии здоровья английской королевы. Ну да что с них взять, им никогда не понять про нас. Начальник дружины просто ликовал. Иностранца вытолкнули взашей, а меня оставили. Потолковали с милицейскими и, получив разрешение, ворвались в камеру вдесятером. Много они тогда здоровья у меня отняли, правда, руки мне связать удалось только после того, как я сознание потерял, так что двоим из них тоже несладко пришлось. Так меня со связанными руками несколько суток и продержали. Но потом милицейские сообразили, что если я подохну, им все же придется отвечать, и вызвали врача. Врач заявил, что я при смерти, и меня в больницу увезли. За месяц я отошел, но из Новгорода пришлось восвояси убираться, так как двоих дружинников я на всю жизнь разукрасил, и, хотя дело замяли, было ясно, что рано или поздно со мной снова рассчитаются. Вот и кинулся я на Север, мотался по экспедициям и стройкам, но долго нигде не задерживался. К нашему брату, вольнонаемному, известно, как относятся, где обсчитать, где согнуть норовят. Я никому спуску не давал, и в конце концов выперли меня с одной работенки без копейки денег и с волчьим билетом, „за антиобщественное поведение“. Хорошо, девчушка одна подвернулась, кормила и поила меня неделями, и ты знаешь, политик, так светло на душе моей было, будто я церкви наши новгородские рисую. Ну да что с нее взять, она ведь не дочь заморского посланника, в магазине продавщицей работала, не большие рубли получала. А воровать я ей запрещал.

Надо было двигаться куда-то, но без денег не двинешься, вот я сделал маленький налет на магазин в селе соседнем и на поезд бросился. Взяли меня в дороге, доказать ничего не могли, но осудили по наличию денег, которых у меня быть не должно. И присудили к пяти годам. А девчушка эта моя все передачи мне слала, а потом уж не знаю как, но на три года залетела за растрату казенной кассы, только недавно об этом узнал. И куда мне теперь деваться, как по сроку освободят, куда кинуться…»

Начальство моего частого отсутствия на работе не замечало, так как никто из них тепляка в такую стужу не покидал.

Как-то после работы я передал бугру конверт с письмом. Он даже руками замахал: «Не ввязывай меня в свои дела, политик, я же тебя просил». – «Иван, отправь через вольных на рабочем объекте, ты же с ними по штату общаешься, слово даю, моих дел это не касается, и ничего тебе за это не будет». Я просил в этом письме моих друзей из Москвы прислать жене бугра в Тобольск немного денег. Через месяц Ивану пришло недоуменное письмо от жены – просьбу мою выполнили. Он не сразу сказал мне об

этом, долго бродил по зоне, курил, был растроган.

* * *

В те же первые лагерные месяцы, в те месяцы, когда предстоящий срок кажется нескончаемым, когда теряешь надежду вырваться из вони барака, саднящего скрипа метели, ко мне подошел невысокий скуластый паренек и отрекомендовался – Миша Каменев, заведующий клубом, – и сразу же стал оправдываться за сучью должность, на которой держат его исключительно за музыкальные способности. Он и вправду прекрасно играл на аккордеоне. Мы медленно брели по лагерной зоне и потом укрылись в единственно безопасное для разговоров место – туалет, стены которого к тому же спасали если не от 45-градусного мороза, то хотя бы от метели.

Среди двух тысяч обитателей суверенного государства ИТК «Тюмень-2», включая высшее начальство, вряд ли можно было найти человека, более сведущего в вопросах политики и литературы. Он цитировал «Новый мир», Бёлля и Маркса. Но окончательно ошеломил меня мой новый знакомый неожиданным признанием в том, что является глубоким поклонником Герберта Маркузе. Поначалу я воспринял это заявление как шутку. Никогда не встречал я людей, всерьез относящихся к этому западному бреду. И вдруг здесь, в самом центре Сибири, в уголовном лагере – приверженец идей левацкого лидера беснующейся молодежи. Однако он отнюдь не шутил. Он сыпал цитатами, выуженными из марксистской критики по поводу Маркузе, хвалил китайский метод коммунизма. И был очень разочарован, когда я объяснил, что не связан с какими-либо боевыми группами, предназначенными для свержения власти, и подобные затеи считаю нелепыми. Мне показалось, что разочарование его наигранно и словам моим он все равно не верит.

Через несколько дней он зашел ко мне в барак и стал уговаривать составить программу лагерного концерта. Приближалось 23 февраля – очередной юбилей нашей доблестной Красной Армии, и начальство требовало самодеятельности. Приближался и день освобождения моего нового знакомого, которого я уже прозвал Маркузе. Он хотел попрощаться с зоной таким концертом, каких еще не видывали здесь, за колючей проволокой. С тем он и явился ко мне.

Конечно, я сознавал, чем может кончиться для меня участие в этакой авантюре, но соблазн был слишком велик. Каждое утро,

просыпаясь от звона железной балды, возвещавшего час подъема, я думал, что не смогу подняться с нар. И все же вместе с 80-ю соседями по секции вставал навстречу кромешной тьме зимнего тюменского утра, навстречу каторжному дню и новому недолгому забытью на нарах. В голове вертелась вязкая мысль: кто я? откуда? зачем?

А тут концерт. Нет, слишком был велик соблазн.

Я жив еще, вы слышите, я жив,
Не для нажив, не просто ради смеха.
Как надо мной судьба ни ворожи,
Я для нее пока еще помеха.

Я дал согласие. Через три недели программа была готова. Успеху предприятия сопутствовало то обстоятельство, что неутомимый замполит зоны майор Лашин, главная лагерная ищейка и пастырь заблудших душ, отбыл на какое-то совещание.

23 февраля после праздничного ужина – вместо вонючей каши нам дали серую, но все же лапшу – заключенных вновь запустили в столовую, она же клуб. Нельзя сказать, что эта тысяча попавших в зал очень рвалась приобщиться к творчеству своих собратьев, но после концерта крутили кино, а двери столовой накрепко запирались еще перед началом торжественной части. Маркузе собрал что-то наподобие джаз-банда, который лихо исполнял намеченную мною программу. То, что прогремело с эстрады, было для здешних мест весьма необычным. В ознаменование доблестных побед Красной Армии вместо «Партия – наш рулевой» были исполнены «Штрафные батальоны» Высоцкого и «Мы похоронены где-то под Нарвой» Галича. Зал напряженно затих. Начальник секции внутреннего порядка (СВП), надзиратель из заключенных, почуял недоброе и кинулся к дежурному офицеру. Однако дежурный был не из ретивых, особого рвения на службе не проявлял. То ли он сообразил, что за самодеятельность ответственности не несет, так как программу должны были проверить заранее высшие чины, то ли решил, что оборвать концерт – больше шуму будет, но на настойчивые призывы начальника СВП отвечал он уклончиво, и самодеятельность продолжалась.

Дальше шли песни московских бардов. Затем конферансье объявил песню «Цыганки» на слова Юлия Даниэля. Ни с одной советской эстрады ни один великий артист не решился бы произнести даже имени писателя, отбывающего в то время свой лагерный срок:

Отвечаю я цыганкам – мне-то по сердцу
К вольной воле заповедные пути,
Но не двинуться, не кинуться, не броситься,
Видно, крепко я привязан, не уйти.

Концерт подходил к концу. За кулисами праздновали победу. Маркузе раздобыл водки, и горячая влага впервые за долгие месяцы разлилась по телу, подняла и закружила душу. И я не выдержал. Скинул лагерную робу и, напялив белую рубашку, предназначенную для артистов на время концерта, вышел на сцену.

Я просто читал лирические стихи, просто читал стихи, не выкрикивал лозунгов, не призывал к восстанию:

Ударясь в грязь, – не плакать слезно,
Что одинок – к чему пенять,
Да что там – падают и звезды,
И тоже некому поднять.

Концерт закончился народной лагерной песней последних лет:

Нет, нам Ветлаг не позабыть,
Нет, нам тайги не покорить,
Всех тайга с ума свела,
Распроклятая тайга.

Занавес, наконец, закрылся. Мы медленно переоделись и медленно спустились в зал. Ко мне подошел невысокий паренек с пронзительными голубыми глазами и плотно, чуть надменно сжатыми губами, Леша Соловей. Его знала вся зона. Когда-то король блатных, он отошел от их компании, но блатные не расправились с ним, как это обычно бывает. Слишком высок был его авторитет, слишком твердо и благородно держался он на лагерных разборах. Он подошел ко мне и, скрывая смущение, сказал: «Здорово это ты, политик, сочинил. Ништяк. Спасибо. Только зря ты с этим типом связался. Он в общаге воровал у своих, когда в институте учился. Я ему говорил, чтобы он тебя не втягивал, а он, паскуда, смотрит своими рыбьими глазами и кивает. У него же звонок завтра, конец срока, пятерик отчалил и привет, а тебе тащить, кто знает, сколько…»

В зале погасили свет. Мы втиснулись между сдвинутыми

вплотную телами. Замелькали титры на белой простыне и оборвались. В репродуктор кто-то отчаянно хрипел: «Делоне и Каменев, на вахту!» Зажегся свет. Я поднялся и пошел к выходу. Заключенные прижимались друг к другу, давая мне проход. Меня довели до штаба СВП; Маркузе, изматерив, отпустили по дороге (все-таки конец срока). В комнате с письменным столом и всеми атрибутами учреждения сидели члены СВП. Надзорсостава не было. Это могло означать только одно: будут бить до полусмерти. Начальник штаба поднялся первым: «Ну что, гад, антисоветчик!» Дальше все произошло как-то само собой. В моей руке оказалась табуретка, и я сам не узнал своего истеричного крика: «Суки, только с места двиньтесь, за всех не ручаюсь, но одного точно здесь оставлю навсегда, мне все равно, я не знаю, когда отсюда выйду». Воцарилась тишина, потом все расселись по местам. Красные точки прыгали перед глазами. Мне показалось, что я снова на сцене. «И вообще, послушайте, – продолжал я вкрадчиво, – я уже предупредил своих, – если со мной что-нибудь случится, завт ра же об этом будут знать в Москве, всю историю расскажут по „Голосу Америки“». Это возымело действие, активисты совсем стушевались. «Да с меня же голову снимут, условно-досрочное освобождение на носу, все заслуги перечеркнут», – жаловался начальник штаба. «Вот и не понтуйся, не создавай шума», – посоветовал я, окончательно обнаглев.

«Ладно, – согласился он, – ты хотя бы стихи перепиши, которые читал, – мне для доклада, а то ведь все равно донесут. И те пиши, как ты Москву, столицу нашей родины, помойной ямой называешь». Я согласился. Озадачила меня только «помойная яма». Никак я не мог сообразить, где это, в каких стихах такое определение? И вдруг меня осенило: так вот в чем, оказывается, усмотрели они главную крамолу:

А Москва опять меня обманет,
Огоньками только подмигнет,
Пару строк на память прикарманит,
Да и те не пустит в оборот.

Понесет, сбивая с панталыку,
В переулках утлых наугад.
Мне бы только тихую улыбку,
Я других не требую наград.

Мне бы лишь глоток прозрачный неба —
Губы пересохшие смочить,
Да по мне слезу, светлее вербы,

Чудом заставляющую жить.

Забубнят о чем-то злые будни,
Пересуды сузят тесный круг,
И ночей полудни беспробудней,
Тяжелее трудностей досуг.

И опять в Москву, как в омут мутный,
Окунусь, уйду я с головой…
Ты постой, мечтой меня не путай,
Ну куда же денусь я с мечтой.

Я закончил писанину и размашисто, не без злорадства расписался.

В комнату ввалился старшина с вахты, как бы ненароком опоздав на 2 часа. Ругаясь по адресу моей персоны и сибирского мороза, он повел меня в холодный карцер. Но утром меня выпустили. В отсутствие замполита никто не решался квалифицировать мое новое преступление. А замполит вернулся, на мое счастье, лишь через 2 недели, когда страсти уже поутихли, а подавать неоперативный доклад наверх для него было, в свою очередь, небезопасно. Меня, правда, вызывали, грозились отправить к белым медведям, но разбирательства так и не начали.

По всей зоне был издан поистине изумительный приказ: Делоне, политика, во время каких-либо культурных мероприятий в столовую-клуб не допускать. Меня вытаскивали из строя, даже когда в клубе просто крутили кино, без всякого концерта. Мои возражения, что не могу же я святым духом очутиться на экране, в учет не принимались…

Весна не принесла облегчения. Вместо леса пошла погрузка шпального бруса. От реки, от барж таскали мы в гору к вагонам бревна весом от 80 до 120 кг. По бревну на человека, по скользкому трапу на верх вагона. Даже видавшие виды сибирские мужики падали без сил на землю. Подоспевшие бригадиры били их ногами, заставляя подняться.

Однажды, когда фургоны, как обычно, подвезли нас к воротам лесобазы, мы увидели дым. В рабочую зону нас не запускали. Замелькали машины с начальством. Горели бесчисленные штабеля шпал и леса, каждый высотой с пятиэтажный дом. Стояла ранняя весна, и было уму непостижимо, как все это могло загореться. Наконец нас повели в зону. Гроза лагеря, начальник по режиму майор Мичков был вне себя. Путая

все на свете, даже свои излюбленные матерные выражения, он угрожал расстрелом всем сразу, если пожар не потушат. Заключенные бросились тушить. Горящие балки и бревна растаскивали железными крюками, сталкивали на эстакаду. Штабеля скрипели и катились вниз к реке лавиной. Троих зэков, изрядно покалеченных, полуживых, отнесли к вахте. Штурм штабелей продолжался.

Не испытывая особого энтузиазма, я воспользовался общей суматохой и отправился покурить. Но не успел я выбраться из опасной зоны, как столкнулся со всем синклитом высшего начальства, в том числе с майором Мичковым. Огромная лысая голова майора покрылась красными пятнами. Он даже не прохрипел, а прошептал: «Что, мать твою, разгуливаешь, доволен, диверсант. Не волнуйся, живым отсюда не выйдешь. Мы знаем, это твоих рук дело». Мне оставалось промолчать и поспешить на линию огня.

Следствие по поводу пожара тянулось долго, вызывали всех, ходили туманные слухи. До малейших деталей вызнавали все обо мне и моей реакции на случившееся. Я ожидал самого худшего – долго ли вообще состряпать дело. Был бы человек, а статья всегда найдется, тем более в лагерной зоне, да еще и уголовной. Но спасла меня моя неожиданная дружба с Лешей Соловьем, бывшим королем зоны.

Меня всегда удивляло, каким образом этот щуплый парень с летучей походкой умудрялся внушать страх и уважение не только блатным и активистам, но и лагерному начальству. Однако дело обстояло именно так. О нашей дружбе с Соловьем знала вся зона, и ни один заключенный, даже за существенные блага, не решился в те дни, да и много раз позже дать на меня липовый протокол.

История с поджогом забывалась. Лес, разумеется, списали, заключенных на другой объект не перевели. И мы еще долго таскали с места на место обугленные бревна, возвращаясь в барак черными от копоти. И только потом лагерные друзья сказали мне, что красную зарю устроил Маркузе, уже давно гулявший по Тюмени. Я тогда не придал значения этому разговору. Откуда было мне знать, что с Маркузе я еще встречусь…

Прошло четыре года, и в дверь московской квартиры, где я жил у друзей, раздался звонок. На пороге стоял Маркузе. Начались расспросы, воспоминания, бросились в «Гастроном», который вот-вот должен был закрыться. В шумной очереди за водкой мне неожиданно вспомнилась горящая лесобаза, и я весело спросил: «Не ты ли им тогда петуха пустил?» Маркузе вздрогнул и самодовольно сказал: «Да откуда тебе знать».

Вернулись в квартиру, пошли застольные разговоры.

Оказалось, что мой лагерный знакомый исповедует все ту же идеологию. Он совал мне единственную изданную по этому поводу в СССР книгу «Третий путь Маркузе». Более того, он поведал мне, что стоит перед дилеммой – бороться в России или уезжать для этого на Запад, что, мол, у него и здесь дел достаточно. О делах этих я его, разумеется, не расспрашивал. Я водил его по московским компаниям, крутил ему пленки бардов и даже ухитрился достать для него билет на «Гамлета» в театр на Таганке. То есть развлекал его по первому разряду.

Он тоже немного поразвлек меня на прощанье. Как-то вернувшись домой, я не обнаружил там Маркузе, который должен был меня дожидаться. Не обнаружил я и наличных денег. Кроме того, исчезли все магнитофонные ленты с записями и часы. Меня поразила исключительная наглость Маркузе: ведь жил он недалеко от мест, где мы вместе сидели, и дойди до Тюмени слух о его поступке, ему бы не поздоровилось. Своровать у своего в лагере называется крысятничеством, и за подобные дела по меньшей мере бьют до полусмерти. Но чего не сделаешь для нужд революции!

Так или иначе, но Маркузе исчез. Прошел еще год. Мне неожиданно принесли повестку с требованием немедленно выехать для допросов в прокуратуру Смоленской области. Никаких знакомых у меня там отродясь не было, и я долго ломал голову, что бы это могло означать. Время для меня было тревожное. Товарищи из досточтимых органов мягко, через повестки в психиатрическую лечебницу, намекали, что пора бы покинуть пределы вверенного им государства. И я не ожидал от этого Смоленска ничего хорошего. Повестки шли одна за другой. В дверь ломились милиционеры. Я наотрез отказывался ехать. Наконец, звонком на работу я был вызван в московскую прокуратуру. Вежливый молодой следователь записал в протокол мои данные, а затем задал вопрос: «Знаете ли Вы Михаила Каменева?» – «А в чем, собственно, дело?» – спросил я. Первое, что пришло мне в голову: Маркузе арестовали за какую-нибудь кражу, и он для чистосердечности раскаяния сообщил, что и меня немного обчистил. Но ответ следователя был неожиданным: «Видите ли, он арестован за убийство кассира и ограбление магазина в селе таком-то Смоленской области. Но дело не в этом. К Вам другой вопрос: что Вам известно о поджоге лесобазы, на которой работали заключенные Тюменского лагеря весной 1969 года?» Признаться, мне стало не по себе. Я ответил: «По этому делу велось следствие. Больше ничего добавить не могу. Насколько знаю, даже не установлено, имел ли место в действительности поджог». Следователь молча протянул мне

выдержки из показаний Маркузе: «В 1969 году я устроил поджог лесобазы на реке Тура. О поджоге прекрасно знал Вадим Делоне, который отнесся к этому положительно, сказав: хорошего петуха ты им пустил».

Мне пришлось сослаться на то, что Маркузе большой фантазер, и это было сущей правдой. Впрочем, если постараться, то доказать можно все что угодно. Да и одной этой фразы про петуха было вполне достаточно для предъявления обвинения в призыве к террору. И я ждал новых вызовов в прокуратуру. Но и на этот раз как-то пронесло.

Я даже не знаю, кончился ли третий путь Маркузе, и если кончился, – мир праху твоему, бедолага.

* * *

Погрузка шпал в вагоны продолжалась. Что древний Египет! Что труд рабов во имя пирамид! Мы таскали шпальный брус в вагоны вручную, и единственной причиной столь самоотверженного труда было то, что кран на рабочей зоне всего один, да и заключенных нужно было чем-то занять. Наш советский классик Маяковский говорил:

Сочтемся славою, ведь мы свои же люди.
Пускай нам вечным памятником будет
Построенный в боях социализм.

Я всякий раз вспоминал эти строки, наблюдая многочисленные лагерные плакаты. Особенно мне полюбился один – тот, что красовался на каждом бараке: «В условиях социализма каждый человек, выбившийся из трудовой колеи, может вернуться в нее». Афоризм этот был просто трогательно циничен. Из двух тысяч моих товарищей по несчастью из «трудовой колеи» выбились до ареста от силы 30 человек. Все остальные работали с малых лет и попали в тюрьму – кто за мелкую кражу на производстве, кто за пьяную драку, кто случайно, кто просто не пойми за что. И вот их заверили, что у них есть великая возможность, и только в условиях социализма предоставляет им государство такое право и благо вернуться в колею. Под конвоем с собаками их вывозят растаскивать голыми руками штабеля шпального бруса, а бастующих забивают ногами активисты, и конвой тащит их в наручниках в холодный карцер. «Каждый выбившийся из трудовой колеи может вернуться в нее…»

С приходом теплых дней в рабочей зоне все чаще стало появляться лагерное начальство. Лучи весеннего солнца вдохновляли доблестных офицеров отдать все силы на руководство построением коммунизма и на трудовое перевоспитание лиц, выбившихся из колеи. Бугру Ивану все труднее становилось укрывать меня от недремлющего ока. У меня начались очень болезненные приступы гнойного фронтита, но освобождения от работы я получить не мог, хотя начальник санчасти, вечно пьяный лейтенант, относился ко мне почтительно. Едва завидев меня в дверях санитарного барака, он пропускал меня вне очереди, которая всегда бывала не меньше 60 человек. «Проходи, проходи, Делоне, – приглашал он, икая, – ну что, болит? Знаю, что болит, в голове все-таки гной, не в жопе. Но прокол или там операцию я тебе не могу сделать, боюсь, я же не специалист. И на Тюменскую лагерную больницу проситься не советую, там еще хуже меня коновалы. И освободить от работы не могу. Прошлый раз на два дня освободил, так потом еле отвязался от начальства, все кричали, что я тебя покрываю. Врач тут нужен вольный, а я погонами заштампован, тоже подневольный, – и, помолчав, всегда добавлял: – Может, зуб вырвать, ежели болит какой?» Рвать зубы его отчаянная страсть – единственная операция, на которую он мог решиться. Но, видно, в силу того, что он постоянно употреблял казенный спирт по прямому назначению, то есть внутрь, он никак в этом деле не мог насобачиться, но от страсти своей не отрекался. Зубной врач приезжал раз в месяц, и попасть заключенному к нему на прием было так же реально, как из лагерной зоны записаться в космонавты. И лейтенант имел большую практику. Если его просили вырвать зуб, он бросал все на свете и брался за дело. Он благоговейно смотрел на тех, кто коротко бросал ему: «Без наркоза». Эти безумцы вселяли ему веру в человечество. Лейтенант, чуть не плача, извинялся передо мной, но освободить от работы не мог. Приезжал вольный врач, ходил к начальству, требовал, но без толку. Шпальный брус ожидал меня каждый день.

Приказ не давать мне освобождения озлобил даже безразличных мужиков, и они стали дурачить начальство. Офицеры на рабочей зоне разыскивали, где я тружусь и как. Их посылали от вагона к вагону загружаемых составов, а я отлеживался в штабелях и, когда боль немного утихала, заменял тех, кто валился с ног.

* * *

Очень мне старался помочь Вася Халанов, мой сосед по нарам, неприметный щуплый паренек, которому едва перевалило за восемнадцать лет. Он с поразительной ловкостью исхитрялся справиться со своей работой и тут же бросался мне на подмогу. Из таблички, красовавшейся на его койке, я знал, что он осужден за хищение социалистической собственности на два года. Статья эта настолько распространенная, что я никогда не интересовался сутью его «преступления». Но как-то во время очередного перекура спросил: «За что упекли?» – «За поросенка, я поросенка задавил». – «Как поросенка задавил, – не поверил я, – шутишь, что ли, поросенок же не человек, не видит, куда бежит?» – «Где уж там шутить, – вздохнул Вася, – от такой шутки полхуя в желудке, на два года зашутили. За поросенка сижу. Из деревни я сам, от Тюмени верст сто. Школу с отличием кончил, в институт решил поступать в городе, да из колхоза отпускать не хотели, председатель прямо белой пеной плевался, мол, нам здесь люди нужны, здесь работать будешь, мы тебя растили. Но подался я все-таки в город, а вот чтоб в институт поступить, образованьишки не хватило. Учителя-то у нас в деревне плохонькие, а книг я хоть много прочел, да как-то подряд все глотал, без разбору, вот и не дотянул. Ну, помотался я по тюменским стройкам, помесил бетон – на лучшую работенку мне с деревенской справкой рассчитывать не приходилось. В общежитии народу чуть поменьше, чем в нашем бараке, каждый день пьянки-драки, каждый день милиция за кем-нибудь ломится, и, как говорится, с концами. Где уж тут позанимаешься. Ребята надо мной издеваются с утра до ночи, что, мол, академик, опять за Маркса принялся, в начальники партийные пробиться хочешь, а с простым народом и выпить гребуешь. А я бы и рад компанию поддержать, да знал, что непременно в историю какую-нибудь попаду с ними. Тюрьмы я всегда боялся – на глотку брать не умею и драться не люблю, вот и думал, что я там с блатными делать буду. Ну вот – как ни боялся, а попался.

Со стройки я ушел и определился на шоферские курсы, стипендию платили грошовую и общежития нет, у бабки одной угол снимал. А тут мать моя в деревне заболела, одна она у меня, пришлось назад ехать; председатель надо мной долго глумился: „Профессор приехал, мы, значит, в деревне сортом ниже, кафедру ему подавай, ну что, наездился“. – „Все равно, – говорю, – из вашей деревни вырвусь“. В соседнем колхозе, что побольше, МТС

была, там я курсы шоферские окончил. Дали мне грузовик, ну, думаю, хоть тем тебе насолил, что не в твоем хозяйстве останусь. Приехал на грузовике в деревню, все мои друзья школьные поздравлять сбежались. Ну и стали колеса обмывать, чтоб катались быстрее. Напились изрядно, и девки стали упрашивать, чтоб я их покатал. Все в машину набились – кто в кузов, кто в кабину. Сначала по дороге гоняли, а потом я в поле свернул, чтобы лихость свою изобразить. Темно уже было, тут я и наскочил на этого поросенка. Как только мы не перевернулись! Хмель из меня разом вышел. Ну да, слава Богу, царапинами отделались. Поросенка в сторону оттащили и вернулись в деревню. Я машину дома поставил, а на следующий день пьянку продолжили. Я и не знал, что дружки мои потом к тому полю вернулись. Мне они ничего не сказали, а между собой решили – не пропадать добру, освежевали поросенка и продали. Хоть бы до города тушу довезли, а то поленились и спьяну загнали кому-то в соседней деревне. Ну их и застукали. Явилась ко мне милиция – улики искать, а у моей машины все колеса в крови. Как мои друзья ни доказывали, что случайно мы поросенка задавили, все бесполезно.

Поросенок, конечно, колхозный оказался. Кто же своего-то ночью гулять отпустит.

Мать у соседей денег позанимала и к председателю вся в слезах – откупиться хотела. Но тот и слушать ее не стал. „Сын, – говорит, – твой себя выше других считает, в деревне работать не хочет, я ему покажу, кто из нас выше“. На суде он такого обо мне наговорил, что я только рот разинул. Оказывается, я и деревню, и советский строй оскорблял, и, мол, грозился вред приносить, пьянствовал и антиобщественный образ жизни вел. Других свидетелей ни о чем не спрашивали, потому как он партийный и со всем районным руководством вась-вась. Ну и присудили меня к двум годам за хищение государственной собственности и вовлечение малолетних в преступную деятельность (двоим из моих школьных дружков, тем, кто поросенка освежевал и продал, до восемнадцати лет несколько месяцев не хватало). А в приговоре отметили особый цинизм содеянного».

«Погоди, Вася, – взмолился я, – ну хорошо, хищение понятно, прямо всю соцсистему ты по миру пустил, ну хорошо, деток, которые всего на полгода моложе тебя, вовлекал – это еще понятно, но цинизм тут при чем?» – «А цинизм, политик, вот при чем, оказывается, я не просто хищение совершил, но и в особо циничной форме, то есть гонялся за несчастным поросенком по полю, что доказывает злонамеренный умысел и антиобщественный облик мой. Ну да ничего, политик, все на

пользу. Я ведь хоть книги и читал, а дурак дураком был, в комсомол чуть не первым вступил, Ленина изучал, байкам их верил. Думал, что всякая несправедливость от необразованности, думал, грамотные люди правду знают, просто до всего руки не доходят. Учиться думал, ну вот теперь отучился, много я всего по тюрьмам повидал. Я вот о тебе думаю. Друзья у тебя в Москве, и профессора есть и академики, и в других странах про вас знают, а все равно засадили, да и здесь специально издеваются. Где уж мне-то за правду бороться, если и с тобой так расправляются. Очень мне тошно. Выйду с зоны с волчьим паспортом, куда деваться – нигде не пропишут, да и мать пишет – совсем плоха стала. Придется в ту же деревню возвращаться, под того же председателя. А он еще куражиться начнет, ну что, мол, съездил в университет. Эх, политик, одного боюсь – не выдержу я, возьму грех на душу, замочу паскуду. Как я всех их теперь ненавижу, коммунистов. Оттого, наверное, что верил им сильно, вот и обидно теперь досмерти. Ты, политик, помни, я на все готов против них, теперь уж мне всю жизнь по тюрьмам суждено, как ни выкручивайся…»

* * *

В начале лета освобождался Егор. По дороге к жилой зоне, глядя в дырку, пробитую через обшивку железного кузова рефрижератора, на ожидавшую его свободу, Егор попросил меня: «Слушай, напиши ты мне стихи, только не блатные, а такие, чтобы как романс. Для девчонки моей, рассказывал я тебе, как ее посадили. Любил я ее. Сам знаешь, из лагеря в лагерь письма запрещены, ну теперь выйду на волю, напишу. Ты уж сочини, только так, чтобы она не заподозрила, будто не я написал, попроще…» Не в первый раз я оказывался в роли Сирано де Бержерака. К вечеру была готова стилизованная баллада. Потом ее положили на музыку и исполняли под гитару на неподцензурных сходках нашей зоны:

…

Я срок тянул без радостей земных,
Где гнет сучня, борзея год от года,
И по костям товарищей своих
Досрочно выползает на свободу.

Я срок тянул, нелегкий пятерик,

Но обо мне никто сказать не может,
Чтоб я хоть раз кому-то шестерил,
Чтоб я кого-то вкинул или вложил.

Теперь года печали за спиной,
Но все-таки, любимая, ты знаешь,
Мне бы хотелось встретиться с тобой,
Но ты пока что путь мой продолжаешь.

И жизнь твоя идет по лагерям,
Я знаю, как там холодно и жутко,
Но верю, что судьба подарит нам
Одну хотя бы светлую минутку.

Ты успокоишь ласками мой пыл,
Обнимешь чуть дрожащими руками,
Ведь я такой, любимая, как был,
Я с ног не сбит тюрьмой и лагерями…

* * *

Как беглый каторжник, стою перед тобой,
Глаза твои – живой мираж спасенья,
А белый снег летит над головой,
Реальность придавая сновиденьям.

Скрипит метель в глуши пустых ночей,
Хрипит барак, тревожно засыпая,
И бьется солнце за колючкой лагерей,
Как пойманная рыбка золотая.

Вот выкликает лагерный конвой
Фамилию мою и год рожденья,
И я стою с побритой головой
Под медленною пыткой униженья.

В один день с Егором досрочно освобождался москвич Миронов, по прозвищу Кишка. Даже среди активистов этот достойный член штаба СВП считался негодяем. На всей двухтысячной зоне не было ни одного человека, на которого бы этот Миронов не донес. Ни один лагерный надзиратель не мог

сравниться с ним в мастерстве унюхать незаконное чаепитие или провоз из рабочей зоны купленных у вольных сигарет. С утра до ночи этот здоровенный опухший детина, от которого всегда разило отрыжкой даровой добавочной каши, носился по зоне, как угорелый. Даже дотошных офицеров иногда утомляло его неистовое рвение. Активисты из сибирских вели себя посдержаннее и доносили не на всех. Хоть и доблестная Тюменская область величиной чуть не с Западную Европу, но пути-дороги ее обитателей пересекаются часто, человек там не может исчезнуть и раствориться. Активисты из сибирских прекрасно знали, что после досрочного освобождения рано или поздно попадутся на глаза. В тех краях темнеет быстро, и на воле нет автоматчиков на вышках и стукачей в каждом бараке. Активисты из сибирских опасались расправы. Миронов ее не боялся. В Москве легко исчезнуть. Миронов надеялся на скорую реабилитацию перед государством всеобщей справедливости. Он отбывал срок за то, что, будучи начальником ударного комсомольского отряда, обсчитывал работяг. Конечно, все комсомольские вожаки так и поступают, но Кишка по своей неуемной жадности превысил пределы дозволенного грабежа. Теперь условно-досрочное освобождение гарантировало ему не только московскую прописку, но и возвращение на прежнее место работы.

До вокзала, во избежание инцидентов, его должен был сопровождать один из младших офицеров охраны. Через пару дней по зоне поползли злорадные слухи: с Мироновым все же посчитались дорогой. Подробностей никто не знал. Блатные и мужики, пацаны и доходяги – все без исключения строили гипотезы, не скрывая радости. В один из вечеров ко мне в барак забежал посланец Соловья: «Политик, – прошептал он, – Леха ждет тебя, разговор серьезный».

Соловей был не по обыкновению мрачен.

«Беда случилась – только что из Тюменской тюрьмы мне передали – Егор под расстрелом сидит, всего один день по свободе погулял. Не судьба, значит, а какой парень… Он-то Кишку эту, Миронова, и вспорол». – «Как же так, Леха, – мне все не верилось, – его же охраняли, не может быть…»

«Охраняли… теперь его земля охраняет, гада этого. Вот как дело было. Приехал Миронов с офицером на вокзал. В зоне-то он чая в рот не брал, все праведника корчил, а тут отпраздновать решил. Всех, мол, обманул – на зоне кумовское сало днем и ночью жрал, по половине срока освободился. Ну и стали они с офицером в вокзальном ресторане опрокидывать. Дальше – больше. Премий у него от начальства за отличную работу немало

накопилось, хотя он, паскуда, на работу никогда не являлся, а все больше в штабе СВП да у кума торчал… Отправку свою в Москву Миронов отложил, и стали они из ресторана в ресторан переползать. И в одном кабаке вынесло их на Егора, но спьяну не заметили. А тут еще офицер спохватился, что пора ему быть на зоне, и оставил Миронова без присмотра. Тот покуролесил еще немного и поплелся на вокзал. Дорогой его Егор и остановил. Ты же знаешь, как можно душу отвести, да еще на таком дерьме, из-за которого у скольких пацанов менты полжизни отняли. Миронов сначала на помощь звал, а когда понял, что офицера рядом нет, стал по старой привычке запугивать: бей, мол, я тебя все равно вложу, я в больничке отлежусь, а тебя точно в зону пристрою. Ну Егор и не выдержал. Первый день всего по свободе гулял. Вспорол он эту Кишку, все равно, мол, пропадать, так уж с музыкой. Когда чухнулись менты, подозрение на него пало, и сняли его несколько дней назад с какого-то поезда. Доказать вроде бы ничего толком не могут. Но Егор с дружком был, и тот вроде пытался Егора от мокрого дела уберечь, и бросился на него, чтобы помешать. Егор его случайно и порезал чуть-чуть. Его тоже посадили, он молчит, но Егору теперь придется в сознанку идти, чтоб дружка по делу не потащили.

Вот беда какая! А может, и не Егор вовсе, а тот, другой, грех на душу принял, а Егор просто дело на себя решил взять – кто его знает. Он тебе просил передать извинения, что стихи, которые ты написал для девчонки его, он отправить не успел, при обыске менты отняли. Он очень за тебя беспокоится, потому как и переписать не успел. Все так твоей рукой и осталось: на память Егору и подпись. Дело серьезное, как бы тебе призыва к террору не приклеили». – «Да что ты, Леха, какой там призыв, никакого там призыва нету». – «Что тебе объяснять, политик, они все могут. Эх, не дошли стихи до Егоровой подруги и теперь, верно, никогда не дойдут. Понимаешь, никогда…»

* * *

Лето того года, когда ушел от нас Егор, – не то на смерть, не то на Бог знает какой лагерный срок, – было вообще черным летом и летом душным. В Сибири, где десять месяцев – зима, остальное – лето, неожиданно наступает несусветная жара, и расплавленный воздух несет и бросает на хрупкие человеческие тела мириады летучих гнусов. Быстрые и мутные воды реки Тура казались всем спасением, правда, спасением весьма сомнительным, поскольку на этих водах качались поплавки с

вышками, а на вышках – охранники. И не просто охранники, а охранники азиатские, потому как в конвойные войска набирают обычно туркмен, таджиков или казахов. Расчет простой и, с государственной точки зрения, весьма мудрый. Все эти азиаты, а по лагерным выражениям «чучмеки» или «чурки», не без основания считают себя нациями порабощенными и, полагая, что в лагере сидят в основном русские (что, впрочем, не совсем правда), то есть поработители, готовы хоть как-то отыграться и по каждому поводу или без повода хватаются за автомат. Есть, очевидно, не менее весомая причина, способствующая столь странному, на первый взгляд, подбору состава охраны лагерей…

– Ахмет! – кричу я одному из конвойных.

– Не подходи, стрелять буду! Указ – не положено!

– Ахмет, я же все равно подойду.

И медленно двигаюсь на дуло автомата.

– Эх, бедовый ты, политик! Что тебе, закурить надо?

– Нет, своих хватает. Поговорить хочу.

– Ну, говори, – несколько нерешительно отвечает он, но автомат из рук не выпускает.

– Слушай, Ахмет, – начинаю я издалека, – почему ты всех нас, заключенных, так ненавидишь? Вот если кто к зоне приблизится, чтоб нам сигарет или чаю передать, сразу же в воздух стреляешь? Почему? Тебе же в армии тоже несладко, чуть получше нашего, так чего ж ты так звереешь?

– Потому и такой, что в армию меня из деревни сюда за гнали, взяли и силком привезли. У нас в деревне свои обычаи, не нужна мне ваша армия, вы все русские, и ты тоже.

– Ахмет, – говорю я, – но я же не коммунист, да и они вон все, за исключением активистов, – не коммунисты. Ты хоть Коран-то знаешь?

– А ты знаешь?

Я привожу первую попавшуюся цитату.

– Вот что, – помолчав, говорит Ахмет, сраженный Кораном, – может, ты, политик, и не русский вовсе, и не коммунист, но стрелять все равно буду – устав есть.

Я поворачиваюсь и медленно отхожу…

Нет, есть другая причина. Азиаты азиатами, а ровно так же ответит какой-нибудь Ваня из Вологодской области… Чем примитивней человек, тем благоговейней его отношение к оружию, тем с большим наслаждением он пользуется им…

Блатные, пораженные моей лихостью, то есть бесстрашным разговором с конвоиром, стараются обратить все в шутку:

– Ну что, политик, посты обошел?

– Обошел, – говорю.

– Ну и как, стрелять будут, если купаться полезем?

– Будут, – отвечаю я.

– Ну, а ты-то купаться будешь?

– Буду. Во-первых, стрельба напоминает мне фейерверк, во-вторых, душевых начальство для нас не предусмотрело, в-третьих, по сведениям советской прессы на Кот д'Азюр еще больше нефти, чем в этой поганой речке.

– Постой, постой, политик, – встревает кто-то из блатных, – ты говори, да не заговаривайся, что еще за «кот д'азюр»?

– А это, – говорю, – курортное побережье Франции, географию надо знать, в школе учились или вас в мешке из тайги привезли?

– Ладно, ты грамотный шибко, короче, купаться будем или нет?

– Конечно, потому как жарко, это хоть ясно?

Мы скидываем лагерные робы и медленно идем к воде, которая несет на себе щебень, нефть и какую-то тухлятину, неизвестно откуда взявшуюся, и ныряем.

– Стрелять буду! Назад! – кричит зычным голосом конвоир, охранник наших душ и тел, тот, что качается на вышке, на поплавке.

– Стреляй, гад! – неожиданно орет кто-то из лихих пловцов. – Стреляй, гад, все мы там будем, и ты тоже!

И он стреляет. Нет, не в воздух, а по воде… Я не думаю, чтобы он целился специально, но трое из нас вышли из воды с кровавыми царапинами. Но что царапины, так и так чуть не каждый день несколько наших возвращались в лагерные бараки искалеченными после этой «исправительной» работы. Нас ждало худшее.

Пока мы одевались, стараясь вовремя прикрыть кровоточащие раны, к нам уже спешили офицеры лагерной службы, переполошившиеся от звуков стрельбы. Мы знали, что в лучшем случае нам грозит карцер за минуту прохлады, а в худшем – добавят по три года лагерей на рыло за «попытку к побегу». Мы принялись изображать трудовой энтузиазм и великую озабоченность досрочной загрузкой шпал в вагоны. Офицеры неумолимо приближались.

– Ну дак кто купался? – спросил капитан, и воцарилась такая тишина, какая бывает только после отгремевшего обвала.

– Я спрашиваю, кто плавал, – повторил капитан, не спеша раскуривая «Беломор».

И тут произошло нечто невероятное. Произошло то, чего никто, а тем более я, не ожидал. На сцену вышел Архипыч – мужик, работяга, никакого отношения к доблестному заплыву не

имевший. Архипыч и среди мужиков считался человеком вредным, несмотря на свою сноровистость и работоспособность. К какому делу его ни приставь, он все исхитрялся делать лучше и быстрее других, и каждый свой успех норовил продемонстрировать начальству. За это его особенно не любили. У меня с Архипычем были отношения сложные и запутанные. Архипыч был одним из тех, кто после работы толпился в моем бараке с просьбой написать жалобу. Ибо считалось, что я – «политик» и, стало быть, писать умею. Из всех осаждавших меня клиентов Архипыч отличался въедливостью и настойчивостью, присущей верным ленинцам и марксистам, которые, даже по двадцать пять лет отсидев, все доказывают, что идеологи были правы, но их не так поняли. Архипыч, забегая в барак и расталкивая прочих просителей, неизменно заявлял, что дело его – первостепенной и даже государственной важности и что, дескать, «писатель» об этом знает. Добравшись до моей лагерной койки, он, всегда торопясь и оглядываясь, разворачивал замызганную тряпицу с невесть где добытым кусочком сала. От сала я решительно отказывался не потому вовсе, что был сыт (сало в лагере – деликатес) или хотел держать фасон перед окружающими, а по той причине, что, попав за колючую проволоку, понял одну несложную истину: надо в себе подавлять чувство голода. Если не сможешь себя пересилить, значит – пропал. Сколько раз на моих глазах не то что за кусок сала, за лишнюю пайку хлеба продавали друзей, становились педерастами, доносили и даже убивали… Но была и другая причина моего стоицизма: я прекрасно знал, – как хорошо я ни напишу эту жалобу, и куда я ее ни напишу – все это без толку. Архипыч считал, что я разыгрываю из себя пессимиста просто от нежелания писать, сало быстро прятал в замусоренный махоркой карман телогрейки и приступал к изложению сути дела. Говорил витиевато и запутанно, в той манере, в какой люди из народа говорят всегда, ежели желают показать, что они тоже не лыком шиты и грамоте обучены. Из всего, что излагал Архипыч, было ясно только одно – засадили его за трактор на пять лет. Но что с этим трактором случилось, я так до конца понять не мог. Не то Архипычу для колхозного трактора нужны были какие-то детали, не то детали нужны были кому-то другому и Архипыч их продал, но обвинили его в хищении государственной собственности.

– Ты им так и напиши, политик, – говорил мне Архипыч, – ничего я у них не похищал. Что у них было, то и осталось.

– Напишу, – отвечал я, – только толку что. Все равно читать не будут.

– А ты напиши, – настаивал Архипыч, – начальству оно

видней.

– Как же, – усмехнулся я, – начальству твоему видней, где пожирней кусок урвать, а не то, как ты здесь маешься.

– А ты бы все же написал, – уговаривал Архипыч. И я писал во все инстанции, вплоть до Генерального прокурора, писал, что трактор есть трактор, и что за его починку сажать человека на пять лет не следует, а Архипыч сидел и доносил начальству, кто работает, а кто не работает. И на меня доносил, когда я отлеживался в штабелях, шалея от головной боли. Самое странное, что не был он даже «активистом», не носил красной повязки, а доносил просто из чувства справедливости. И вдруг, как я уже говорил, Архипыч вышел на сцену.

– Так кто же купался, а? – еще раз спросил капитан, покуривая «Беломор» и глядя в упор на меня.

– А никто не купался, – неожиданно бухнул Архипыч и даже как-то вывернулся вперед, как будто его ветром понесло.

– То есть как, никто? – изумился капитан. От Архипыча он такого заявления никак не ожидал.

– Да так, гражданин начальник, – зачастил Архипыч, – это мы с мужичками тут портянки стирали.

– Какие портянки! – взревел капитан. – Что ты мне голову морочишь, какие портянки, когда конвой стрелял.

– Обыкновенные, – трясясь всем телом, но как-то яснея голосом, докладывал Архипыч, – обмотки наши, тряпки, которые под сапогами, их и стирали, а конвой стрелять начал. Потому они азиаты косоглазые, чучмеки, им померещилось.

– Померещилось, – растянул капитан слово, как тянут шаг на параде, – а отчего у политика и других вон головы мокрые?

– А это они водой намочили, – услужливо пояснил Архипыч, – а то солнышко-то пекёть.

Солнце и вправду пекло. Капитан глянул на небо, сплюнул, проговорил обычное «всех сгною», повернулся и пошел к вахте.

После съема, вопреки обыкновению, в рефрижератор набивались, оживленно шутя и толкая друг друга.

– Ну что, политик, – орали блатные, – как тебе наш «Кот д'Азюр»?

– Ничего, – говорю, – купаться можно – только щепок наглотался.

– Щепки – не пули, – весело отвечали мне, – быстро переваришь. Что щепки, что каша наша, которой каждый день кормят, – один прок, ну покряхтишь немного в клозете.

* * *

Конвой угрюмо молчал. Места распределялись на основании негласных лагерных привилегий. На передних сиденьях и по бокам располагались блатные и большесрочники (я тоже имел право на выбор места, как лагерная знаменитость, но этим правом никогда не пользовался).

Не то чтобы на передних скамьях и с краю сидеть было удобней или меньше трясло. Причина столь странного, но раз и навсегда заведенного распределения мест была совсем иной: с боковых или передних сидений можно было хоть краем глаза взглянуть на недоступную свободу. Вообще-то говоря, по правилам взглянуть было нельзя, ибо рефрижератор – это огромный стальной короб, законопаченный со всех сторон, в каких обычно возят мясо или рыбу, лишь задняя площадка открыта, а на ней, отделенные от зэков решеткой, восседали неизменные два автоматчика с овчаркой. Конвоиры, прежде чем запустить нас в рефрижератор, подвергали всех тщательному обыску. Но это не помогало: как только рефрижератор двигался с места в направлении к жилой зоне, то есть через весь город, начиналась отчаянная борьба за взгляд на свободу. Невесть откуда появлялись гвозди, какие-то штыри, но я думаю, что и не окажись всего этого, дырку в железном корпусе прогрызли бы зубами. Конвой орал и грозил, собаки лаяли, а исступленная работа продолжалась до тех пор, пока не удавалось пробить в обшивке несколько отверстий.

– Эй, политик, ты что там все мыслишь, Маркса своего разоблачаешь. А мы уж вон перископ соорудили, как в подводной лодке. Иди, глянь, что там вольняшки без нас делают, – посмеивались блатные.

Каждый раз, когда рефрижератор подъезжал к зоне и начинался новый пересчет зэка, прежде чем запустить их в ворота, начальство, осмотрев борта нашего комфортабельного автобуса, приходило в неописуемую ярость. Нас вновь обыскивали, грозили, орали. Ежедневно специально для этого выделенная бригада сварщиков задраивала наглухо все дырки, и ежедневно все начиналось сначала. Начальство было в полном бессилии. Посадить всех в карцер нельзя: во-первых, карцеров не хватит, во-вторых, кто тогда будет работать на этой проклятой пойме. Оставалось только прорыть туннель, длинней того, что под Монбланом. Даже зачинщиков никогда не удавалось найти – на все вопросы не только мужики, но и активисты угрюмо отмалчивались. Всеобщий ажиотаж вокруг идеи «прорубить окно» был настолько велик, что никто доносить не осмеливался, да и самым верным начальству активистам тоже хотелось хоть разок, да взглянуть – что там, на свободе. Блатные называли эту

операцию «ловить сеансы». Если рефрижератор притормаживал и на тротуаре возникала молодая женщина, начиналась основная часть игры. Кто-нибудь из блатных, оказавшийся в этот момент у «окна», весьма деликатно, не употребляя даже «для связки слов» блатных выражений, начинал упрашивать: «Рыжая, слышишь, рыжая, мы тут все в коробке этой чертовой по пять лет живой бабы не видели, приподыми юбку, тебе одно движенье, а я, может, потом целый год твои ножки по ночам вспоминать буду! Покажи себя, имей совесть!» Поначалу мне казалось странным, что каждая вторая соглашалась, и я приписывал это обстоятельство известной истине о широте русской души, но потом, подумав, понял, что именно у каждой второй из этих недоступных нам красавиц кто-нибудь из родни да сидит, или муж, или друг, или брат, ну а если и не сидит никто, то глядишь, вот-вот да и посадят. Ибо от тюрьмы да от сумы, следуя мудрой пословице, у нас никто не зарекается. Поэтому прекрасные незнакомки хорошо понимали нас. И шли навстречу уговорам ухажеров, скрытых от их взора железной обшивкой.

Так или иначе, этот странный, рвущий душу стриптиз происходил почти каждый раз, когда машина с заключенными приостанавливала свой неумолимый бег. Все затихали.

– Политик, иди глянь на нашу, на сибирячку! Или брезгуешь? Да что там у тебя в Москве – одни балерины что ли были. Вот ведь и жены нет, даже раз в полгода на свидании не побалуешься, иди взгляни! – зазывал кто-нибудь из блатных.

В горле у меня першило, я обычно отшучивался, но иногда, чтобы не обидеть солагерника, пожертвовавшего для меня столь дорогой минутой сеанса, подходил и приникал глазами к «окну».

Меня удивляло, что когда сеанс кончался, то есть рефрижератор двигался дальше, никто даже из самых циничных блатных не позволял себе отпустить скабрезное замечание или просто посмеяться. Кто-нибудь всегда на прощанье изо всех сил кричал: «Прощай, рыжая! Век не забуду, спасибо!» или: «Красотка, напиши мне пару строк и хоть маленькое фото пришли, ну хоть такое, как на паспорт! Может, не пожалеешь, что на марку потратишь! Я – такой-то, исправительная колония 2». Письма довольно часто приходили. И тогда ко мне в очередь после работы снова выстраивались клиенты, но уже не жалобщики из мужиков, а блатные с просьбой написать «заочнице» пограмотней да покрасивей…

Правда, не так уж часто выпадали возможности сеанса. Рефрижератор редко останавливался не только потому, что дороги наши, а уж в особенности сибирские, не очень-то обременены частным транспортом и потому заторов бывает мало,

но и по той причине, что шоферам наших особых машин было приказано не обращать внимания на правила уличного движения, а в случае чего движение это и вовсе перекрывали. Так возят в нашей стране только членов правительства и заключенных, причем и тех, и других под строжайшей охраной до зубов вооруженных лиц. Это обстоятельство наглядно подтверждает известный тезис КПСС – «Народ и партия едины».

Помимо того что машина наша останавливалась редко, была и другая проблема с «окнами»: на какие бы ухищрения ни шли мои ежедневные попутчики, пробить больше трех дырок-глазков никогда не удавалось. Потому так дорожили местами у борта. Я думаю, что ни один самый респектабельный концерт в мире не рождал столько споров и обид. Доходило порой и до кровавых драк за право сидеть на лучшем месте и видеть первым. Вмешивался и конвой, однако только в тех случаях, когда девушка решалась в ответ на благодарности или комплименты крикнуть что-нибудь сочувственное или просто называла свое имя. Тут очередной автоматчик, исполняющий устав, неизменно ревел: «С заключенными в разговоры вступать запрещено! Назад! Молчать!» Но тут поднималась волна народного гнева: «Сволочь ментовская, фашист, жалко тебе, гаду! Сиди-молчи! Вон за тебя собака твоя гавкает! Завидно! Да тебе, менту тухлому, ни одна баба не даст, слюну глотай!» Конвойный вскакивал и направлял дуло автомата в бушующую за сеткой орущую массу людей. Девушка в ужасе застывала на тротуаре, ктонибудь, пытаясь перекричать остальных, старался ее успокоить: «Эй, рыжая, подруга, за нас не беспокойся, всех не перестреляет. Я такую шваль, как он, сотнями одним бушлатом на водопой гонял!»

Рефрижератор трогался… до следующей встречи с мимолетным видением любви…

Когда же девушка просто выполняла просьбу о стриптизе и в разговор не вступала, конвоиры благоразумно помалкивали не только потому, что знали – с заключенными в такой момент лучше не заедаться, а еще и потому, что, собственно, и самим посмотреть хотелось. Много раз я наблюдал, как конвой пытался воспользоваться нашим приемом и кто-нибудь из погонников начинал заигрывать с проходящими девушками, но желаемого эффекта это никогда, ни единого раза не приносило, как ни старались наши охранники. Не знаю, как в других местах, но в Сибири кокетничать с ментами считается признаком дурного тона. После каждой такой попытки блатные сдержанно посмеивались: «Ну что, начальник, как сеанс? Ты думаешь – надел погоны, и выше Яшки Косого, кум королю! Погоны-то они, сам видишь, не везде помогают!»

Я не думал тогда, что попаду в Париж и, сидя в «Альказаре» или других кабаре, глядя сквозь стакан шампанского на залитую светом эстраду, буду каждый раз вспоминать маленький глазок в железном фургоне, рыжую девушку, поминутно и пугливо оглядывающуюся по сторонам и задирающую все выше и выше свою незамысловатую юбку… Я не знал тогда, что в парижском кабаре будут душить меня спазмы от этих воспоминаний…

* * *

В день нашего доблестного заплыва нам вообще везло. Шоферы всех четырех рефрижераторов, возивших ежедневно взад-вперед, от одной колючей проволоки до другой, 300 душ заключенных, были до необыкновения пьяны, то есть пьяны-то они были всегда, но на сей раз, прежде чем усадить водителей за баранки, конвоиры долго обливали их водой из ведер. Так, впрочем, бывало всякий раз, когда шоферы из вольных за приличную мзду решались провезти в рабочую зону водку для кого-то из заключенных, случайно разжившегося деньгами. Помимо мзды за небезопасную услугу, шоферы приглашались и к распитию. На сей раз их, очевидно, угостили от души, и капитан, грозившийся всех нас сгноить, тщетно просил кого-нибудь из солдат конвоя заменить шоферов. То ли потому, что капитана этого даже свои не любили, то ли и солдаты пригубили дармовой водки, но дело явно не клеилось. Капитан, конечно, и глазом бы не моргнул, если бы все мы разбились, но отдельной машины у него не было, и по уставу он должен был ехать в кабине головного рефрижератора. А лежать в одной братской могиле с нами ему никак не светило.

Наконец с грехом пополам тронулись и через некоторое время остановились в самом что ни на есть удобном для нас месте – на перекрестке главных улиц славной орденоносной Тюмени. Капитан бегал где-то впереди, расчищая путь, орал на шоферов, что всех их засадит и что будут они не в кабине, а с нами вместе в железном коробе ездить, но машины что-то не двигались. Дырки в обшивке были, конечно, уже пробиты, и завсегдатаи царских лож покровительственно пропускали вперед мужиков в честь дня всеобщей солидарности и благодарения судьбе за удачный конец заплыва. Вдруг кто-то из блатных отпихнул очередного зрителя галерки от глазка и крикнул мне:

– Эй, политик, скорей сюда, скорей, прошу тебя! Это же та самая, рыжая!

– Какая рыжая? – не понял я.

– Да та самая, из-за которой мы две недели назад чуть решетку не разнесли и не схавали с потрохами это пугало вместе с автоматом и овчаркой его поганой! Ей-богу – она, политик! Вон и рукой машет, как будто специально здесь нас ждала. Да вон и Гешка в прошлый раз ее видел. – Гешка, скорей сюда! Рыжая! – кричал он, не дожидаясь, пока мы проберемся к нему. – Рыжая, ну устрой еще раз сеанс, прошу тебя! Смотри-ка, политик, вроде как стесняется, а в прошлый раз не стеснялась, что за чудеса в решете! Может, ты с ней поговоришь, политик, она тебя послушает, ты сумеешь.

– Поди глянь, политик, – неожиданно произнес Гешка, – правда ж, интересно, та или не та?

– А ты что? – спросил я.

– Да устал от плаванья, и малость эти сволочи поцарапали, когда стреляли.

Я подошел к пробитому отверстию, сложил руки рупором и, напрягая все голосовые связки, как можно четче продекламировал самого себя:

Как беглый каторжник, стою перед тобой,
Глаза твои – живой мираж спасенья…

Рефрижератор затих, конвой не подавал признаков жизни. Девочка вела себя и вправду несколько странно. Она сначала вся вытянулась вперед, как будто пыталась поймать брошенный ей букет цветов, потом как-то особенно гордо отбросила пальцами рыжую прядь, расстегнула блузку и стала подымать юбку. Прохожие оборачивались, но возмущения не выражали, поскольку разъяснять, что в таких рефрижераторах возят заключенных, нужно только западным корреспондентам. Жителям Тюмени это объяснять не надо…

– Так что, та или не та, политик? – безучастно спросил Гешка.

– Та самая, – ответил я.

Усилия капитана, наконец, принесли какой-то результат, и машины тронулись с места. Никто не мог успокоиться.

– Слушай, политик, чего она здесь ждала, а? – перебивая друг друга, галдели блатные. – Ведь она же наперед не знала, что ты ей стихи начнешь читать, а в прошлый раз никакого концерта, кроме хая, который на конвой подняли, вроде бы не было. Может, влюбилась в кого? – Да в кого тут влюбишься! Во-первых, всем сидеть незнамо сколько, во-вторых, она же никого из нас не видела. Что она видела! Только короб этот чертов и видела! – Может, у нее сидит кто из своих, и она думает, что его с нами возят? – строились новые догадки. – Да нет, что вы хреновину

городите, – снова обрывал кто-то, – она бы тогда крикнула, спросила: мой, дескать, такой-то; с вами или нет? – Может, боится? – Ха-ха, боится, ничего она не боится, в прошлый раз вона как себя вела, а на этот раз сколько времени сеанс показывала! А спросить, по-твоему, боится! – Ну, на этот раз ее политик доконал, – смеялся очередной голос, – ловко это ты, политик, стих выдумал, такого в газетах не найдешь.

– А мираж, это что? Самолет такой, что ли?

– Сам ты дурней паровоза. Мираж – это в пустыне.

– Что в пустыне?

– Ну, когда в пустыне пить хочется. Правильно, политик?

– Правильно, – подтвердил я, – когда пить хочется… – Но думал совсем не про пустыню.

– Да, чудной народ – бабы, – резонно заметил кто-то из мужиков, – у них никогда ничего не разберешь.

– Во как, батя, – ехидно заметил тот чернявый, что звал меня на помощь, – ну ты даешь! Так говоришь, до сих пор и не разобрался. А вот политик, гляди, совсем молодой, а быстро понял, что к чему.

Но «политик» как раз ничего не понимал. Было, конечно, одно странное совпадение фактов. Я вспомнил – в прошлый раз, когда рыжую успокаивали, что по крайней мере всех нас за ее сеанс не расстреляют, Гешка крикнул ей: «Как тебя зовут?», – и та ответила: «Люда». Он снова спросил: «Учишься, что ли, где?» Она помолчала и как-то глухо и раздраженно бросила: «Работаю. На стройке». Других вопросов-ответов не было – это я точно помнил.

И вот дня три назад Гешка Безымянов неожиданно заявился ко мне в барак. Неожиданным его визит показался мне потому, что Гешка, хотя и был «из блатных», но держался всегда особняком, а если и общался, то только с Лехой Соловьем. То ли сильное влияние на него имел Соловей, то ли сам он был по натуре таков, но на мужиках он никогда не выезжал, а напротив, даже лез на скандал, если уж слишком сильно издевались над ними бригадиры или активисты. В отличие от вездесущего отчаянного Егора, он был всегда молчалив и как-то даже на вид меланхоличен, но обладал твердой рукой и удивительной способностью так вставить слово в общий разговор, чтобы все обернулись, как оборачиваются на выстрел. Сроку у него было восемь лет, сидел он по приговору за аварию, но поговаривали, что авария – это только предлог, что посадили его за какие-то крупные дела, о которых он, впрочем, сам никогда не упоминал.

Гешка явился ко мне с обычной просьбой – черкнуть пару строк «заочнице»:

– Вот понимаешь, политик, привязалась какая-то дура,

наверное, кто из освободившихся мой адресок ей подбросил, пошутил малость. Мне и сидеть-то еще больше трех, – как всегда сквозь зубы равнодушно проговорил он, – но ты уж напиши, если время будет, а я потом сам через вольных отправлю. Ну а там, сам знаешь, люди свои, сочтемся.

С этим Гешка удалился, оставив меня в некотором недоумении. К тому времени я более или менее успешно вел от разных лиц кипучую переписку примерно с двумя десятками неизвестных мне дам и даже до того запутался, что собирался завести картотеку, поскольку только по очередному ответу смутно мог припомнить, что именно той или иной от лица такого-то писал. Картотеку, впрочем, завести не представлялось возможным, ибо каждую неделю трясли всю зону шмоны, и не мог я рисковать сердечными тайнами друзей. Все это было так, но уж от Гешки я такой просьбы никак не ожидал, памятуя его фанатичную скрытность, а кроме того – грамотность. Ибо школу он успел кончить, правда, уже в колонии для малолеток, да и в бараке я часто заставал его с книгой в руках. Книгу он сразу же прятал под подушку, и поэтому даже я не знал, чем он интересуется.

Итак, к Гешкиной просьбе я отнесся довольно серьезно, хотя он сам, казалось, не придавал ей особого значения. Я даже зашел к нему в барак и шутливо спросил:

– Так что тебе твоя невеста-то написала?

Гешка, по обыкновению невозмутимо, поднялся с нар, порылся где-то, поморщился и заявил:

– Выбросил, кажется. Давай лучше чайку глотнем. Эй, шнырь, – крикнул он, обращаясь к дневальному, – быстро на шухер, чтоб менты не вошли.

Потом вытащил аккуратно завернутый в носовой платок чай. Глотнули по столовой ложке, запили теплой водой. Кровь зашевелилась в жилах и застучала, забормотала, как ручей в ущелье: «Ты жив еще, слышишь, ты жив».

– Так погоди, Гешка, – снова спросил я, – что же я писать-то ей буду в ответ, если я ее послание не читал?

– А напиши что хочешь, – махнул он рукой, – стихи напиши. А то все друзьям-политикам норовишь на волю письма передать. Поймают – срок добавят. Это тебе не Ленин в Шушенском. Он там на зайцев в этой ссылке охотился, а тут того и гляди из тебя самого зайца сделают.

Посмеялись. На прощанье я спросил:

– Как хоть зовут невесту?

– Люда, – все так же безразлично ответил Гешка. Всю ночь меня мучил проклятый фронтит, и хоть стихосложение – не

лучший метод борьбы с головной болью, пришлось заняться посланием:

И опять, выбиваясь из сил,
Я срываюсь на сдавленный крик,
Небосвод надо мною так синь,
Хоть совсем на него не смотри.
И опять по ночам, как в бреду,
Я мечусь, равновесье теряя,
На свою уповаю звезду,
А звезда эта тает и тает.
И опять за стенами квартир,
Как по мне, голосят патефоны,
Весь безумный, весь радостный мир
Мне объявлен запретною зоной.
У отчаянья на самом краю
Я качнусь и опять выпрямляюсь,
И как будто в неравном бою,
Не живу я, а выжить стараюсь.
Ты на слове меня не лови
Ради скуки, каприза ради,
Вся душа моя в липкой крови,
Словно губы твои в помаде.
Я устал, как заброшенный дом,
Где-то люди любовь коротают.
Взгляд твой душу берет на излом,
По ночам иногда настигая…

Закончил я послание как раз к подъему и, улизнув от принудительной зарядки и пропустив завтрак, успел занести его Гешке. Над строками стихов красовалась надпись: «Люде от Г. Безымянова» и дата.

– Распишись, знаток Шушенского, – весело сказал я.

– Придется расписаться, не зря же ты старался, да и не в ЗАГСе же расписываться.

Рефрижератор сильно качало. Очевидно, наши водители опять раскисли и давали зигзаги.

– Да, не хватало заплыва с пальбой, – сказал я, – так вот еще и гигантский слалом.

Гешка отозвался с усмешкой:

– Одно успокаивает, что если разобьемся, то и менты вместе с нами, с концами.

Чернявый не согласился:

– Из-за трех ментов всем нам гибнуть! Вот если б наоборот –

нас трое, а их восемьдесят, тогда еще можно.

И опять начался спор и обычная околесица, за скольких ментов, чтоб их угробить, умереть можно, а за скольких не стоит. Я опять погрузился в мысли о загадочном появлении Рыжей. Казалось, все совпадает – письмо в стихах и встреча с ней сегодня. Более того, даже имя «Люда». Но все равно это было уму непостижимо. Даже самый глупый детектив свидетельствует о том, что нельзя обращать внимания на первое бросившееся в глаза совпадение фактов. И действительно, кроме «Люда» и «стройка», Рыжая ничего не произносила.

Да и предположить, что девица назовет свое подлинное имя во время строжайше запрещенного уличного стриптиза перед заключенными, уже почти невероятно. Должно же у этой Рыжей быть чувство элементарного самосохранения. А если бы менты захотели ее найти и отомстить? Ведь такой милосердный сеанс точно классифицируется как хулиганство в особо циничной форме сроком до пяти лет, а с виду Рыжая совсем не чокнутая. Ну допустим, что даже Люда, ну даже допустим, что и со стройки, ведь адрес-то она не говорила, и Гешка сам не назвался. То есть она его никак не могла разыскать, мог только он ее найти, но как? «Люд» в миллионной Тюмени на стройке не счесть, рыжих тоже. В тот год рыжих было особенно много. Завсегдатаи королевских лож отметили это обстоятельство еще с месяц назад.

– Слышь, политик, – орали они, – девки-то отчего все рыжие, что это с ними?

– Ну да, ночью все кошки серы, а у вас все девки рыжи!

– Вот-вот, кошки серы, девки рыжи, – веселились блатные.

– Да, загадочно.

– То-то, политик, это тебе не философию читать. Да мы и сами не знаем, в чем дело, – голосили блатные, – мы тут уж давно от вольной жизни отвыкли, может, там теперь порядок такой завели – заместо комсомольских значков, что ли. Ты не грусти, политик, завтра у шоферов спросим, у вольных.

На следующий день, как только рефрижераторы заехали в рабочую зону, блатные вызвали на разговор шоферов. И те, ввиду важности вопроса «отчего все девки рыжие?», наплевав на запрет начальства, подошли к нашей группе.

– Да уж, почитай, с месяц как рыжие, – угрюмо сказал один из них, предлагая нам широким жестом распечатанную пачку Беломора, – а дело вот в чем, ребята. Завезли в нашу Тюмень какой-то краситель, хреновину какую-то, тоже на «х» начинается.

– Хну, что ли? – спросил я.

– Вот-вот, я же и говорю хну, пропади она пропадом. Хну, значит, и завезли. Хорошо, кто неженатый, а нам с Петькой как

быть? Бабы у нас деньги, на водку причитающиеся, на эту хну выкрадывают.

Петька возразил, желая показать из себя джентльмена:

– Да нет, не в водке дело, мне для своей бабы денег не жалко, я всегда подкалымлю. Только как ни приду домой, она за этой хной то в очереди стоит, то с подружками оттенками меряются – у кого красивше. Вот что обидно. А главное, все тем усугубляется, что какой-то фильм прошел западный, и там рыжая в главной роли. Говорят, сейчас во Франции – высший шик, пропади они пропадом.

– Подожди, подожди, – заволновались блатные, – какой такой французский фильм?

Петька нехотя и путанно начал излагать содержание. Я что-то припомнил и стал его поправлять.

– Постой, – хмуро оборвал Петька, – ты-то откуда можешь знать, у вас такого в зоне не показывали, вам только про Ленина фильмы возят.

– Ты что, сквозь стены видишь, политик? – удивились блатные.

– Да нет, – отмахнулся я, – этот фильм еще лет шесть назад в Москве в Доме кино показывали, ну а в Москву он попал тоже лет через шесть после того, как во Франции вышел. Сами знаете – проверка на предмет буржуазной пропаганды, так что, считайте, фильму этому и моде на рыжих дам уже лет двенадцать.

Сообщение мое произвело неожиданный эффект. Блатные ликовали.

– Ну что, вольняшки, думали новость сообщить! Вон у нас политик есть, он все знает. А то там девки думают, что без нас проживут, а без нас-то дурью маются!

Шоферы не обижались, а наоборот, жали мне руку и говорили:

– Ну ты, политик, даешь! Не зря о тебе слава идет, во аргумент выставил, никуда не денешься. Я ей так и скажу, дуре своей нечесаной, туда же кинулася, за краской! А мода-то, вот она, уж двенадцать лет как прошла, опоздала, милая, скорый поезд ушел! А ежели принесет хну эту, то сам и выпью. Ничего, и не такое пили. На спирту она, политик, или нет?

– Да нет, – смеялся я, – была бы на спирте, ее бы до Тюмени не довезли, в Москве бы всю выпили.

Расходились весело. Петька даже согласился взять от меня письмо, чтобы опустить на воле, хотя знал, что если поймают, то за связь с блатными простят, а за связь со мной – нет. В обед кто-то передал мне плитку чая со словами «от шоферов». Так я стал противником «феминистического движения».

В общем, рыжих было не счесть. И нашу благодетельницу могла бы разыскать только вездесущая милиция вкупе с прочими органами всеобщего порядка. Но милиция наша прекрасную леди явно не искала, иначе бы она во второй раз никак уж не смогла бы появиться перед нами. Гешка же пуститься на розыски не мог, ибо от такой возможности его отделяло еще три с половиной года за колючей проволокой. Итак, получалось, что появление Рыжей и моя переписка с некоей Людой – пустое совпадение фактов, ни о чем не говорящих. И все же мне было как-то не по себе. Ведь существовал же хоть крохотный, но шанс, что это не случайность. Почему именно стихи, прочитанные мною, возымели на нее такое действие? Что если второй раз, сегодня, она устроила сеанс исключительно для меня, то есть не для меня, а для Гешки, от лица которого я писал и который даже и сеанс этот смотреть отказался? Тут я вконец запутался и никак не мог отбиться от внезапно возникшего где-то в глубине чувства тревожной щемящей неловкости – не то перед этой Рыжей, не то перед Гешкой, не то перед самим собой. Можно было бы, конечно, спросить у Гешки, но я заведомо знал, что от него ни заклинаниями, ни каленым железом никаких ответов не добьешься.

* * *

Машину вдруг тряхнуло, и мы снова остановились.

– Надрались, слава тебе, Господи, теперь с перекурами везут, а то обычно гонят, как будто битый кирпич в кузове, – заметил кто-то злорадно.

Я посмотрел на Гешку. Он мирно дремал, чуть морщась от полученных при купании ссадин. В королевских ложах вновь оживились:

– Слышь, политик, – делился впечатлениями чернявый, – вон кудлатый бес идет, жорик дерганый, педераст, патлы до жопы висят, небось, из Москвы, земляк твой. Они у вас все там такие или нет? Да ты не обижайся, мы знаем, что ты не из этих – «буги-вуги», хиппи что ли называются.

Устойчивая ненависть к москвичам, живущим в привилегированных условиях, была мне понятна, но ненависть сибирских парней к хиппи и поп-музыке меня поражала. Ведь в столице нашей необъятной родины ни поп-музыка, ни хождение в хиппи никак не поощрялись. А ежели кто задумывал устроить на этой невинной почве сходку, то попросту всех разгоняли с милицией, и если не сажали, то преследовали, ущемляли,

используя весь арсенал наших «воспитательных» средств. Однако доводы мои о том, что хиппи этих тоже трясут менты, никакого воздействия на блатных не имели. Все мои солагерники только отмахивались: «Брось, политик, нашел за кого заступаться, подумаешь, несчастные, сами дурь гонят и клоунов из себя корчат, это ты брось». В тот день я вновь принялся защищать принципы всеобщей свободы и полной демократии.

– Послушай, шустрый, – обратился я к чернявому, – ты о Ломоносове когда-нибудь слышал?

– Ну слышал, – неуверенно ответил чернявый, справедливо полагая, что я вверну какой-нибудь подвох, – это ученый такой, при царе жил, в школе говорили – из крестьян.

– Правильно, – отметил я, – не при царе, а при императрице Елизавете Петровне в XVIII веке. Так вот в те времена всем ученым и дворянам было велено парики носить с косичкой.

– Ну и что? – недоверчиво осведомился чернявый. – Ты сам говоришь, при Елизавете и велено было.

– Слушай дальше, – оборвал я его, – захожу я как-то в барак к одному пареньку из вашей компании, а он мне фотографию сует, на, мол, погляди. Я посмотрел и спрашиваю: «А зачем тебе Ломоносов сдался, в университет, что ли, собрался?» Он так за голову и схватился. «Как, – орет, – Ломоносов, мать твою так! А я думал, баба такая пухлая, пятый год на это фото дрочу!»

Рефрижератор тряхнуло на этот раз от взрыва неудержимого хохота. Минуты веселья в тюрьме – большая редкость, но если такая минута выпадет, смеются действительно от души. И если ты в застенках потерял чувство юмора – считай, что пропал навсегда.

– Так вот, ежели будешь людей по длине волос определять, тоже можешь впросак попасть…

– Ну что, чернявый, – раздался высокий красивый голос Саньки Арзамасского, – хотел политика уесть, слабо тебе, давно я говорил – книжки читай, а ты шныряешь по зоне без толку, как будто здесь не тюрьма, а золотой прииск!

Санькины слова были весомым доводом, поскольку Санька пользовался у всех большим авторитетом. Был он потомственным вором и сидеть начал лет чуть ли не с двенадцати. Когда он попал к нам на зону, то, несмотря на молодость, имел за плечами три лагерных срока.

– Красиво ты его разделал, политик, – продолжал Санька, – в масть пошел, но не по делу. Я-то в отличие от этой темноты заблатованной кое-что понимаю, хоть сам знаешь – у Ломоносова учиться не приходилось. Ты мне вот что лучше скажи. У нас-то все это как бы и не положено, сам говоришь, преследуют эдаких, но отчего же тогда наши газетки западных хиппи так

прославляют? Пишут, что больно сильно их там поприжали, а они, дескать, хорошие, и во всем капитализм виноват. Ну вот ты сам посуди, политик, ты вот постоял на площади Красной с плакатом пять минут, и тебя сразу к нам на три года запроторили. А они там во всех странах американские посольства разнесли. Да и сами-то американцы чуть Белый Дом в красный не превратили, и хоть бы хны!

– Ну, впрочем, кой-кого и сажают, – как-то не совсем уверенно перебил я, – а сидеть-то везде хреново.

– Это, конечно, политик, – кивнул Санька, – сидеть – оно везде несладко, хотя харч у них, я думаю, малость получше нашего, но ведь не в том дело. Мы оба с тобой не из той породы, чтобы только о том и думать, где получше брюхо набить. Да не по душе мне вся эта компания. Война, дескать, им вьетнамская не нравится! А когда наши надзиратели с собачками туда ворвутся, это им понравится? Ты вот скажи, политик, когда наши-то свой порядок там устроят, – лучше будет, что ли?

– Хуже, много хуже, – не то прошептал, не то выдохнул я.

– Ну вот, а ты говоришь – хиппи, – отчеканил Санька. – Видишь, политик, и наши тюменские кое-что понимают, – загалдели блатные.

– Пишут-то, что во Вьетнаме крестьяне за коммунистов воюют, а в Америке безработица, – ни к кому не обращаясь, вдруг объявил Архипыч.

– Крестьяне, говоришь, – презрительно отозвался Санька, – гонят воевать, вот и воюют, поскольку никуда не денешься. Ты вот, Архипыч, тоже отвоевался, засадили за починку трактора, а все за коммунистов голосуешь. А в Америке, между прочим, трактора собственные. Ежели б ты собственный трактор чинил, как думаешь, тебя бы за это посадили или нет?

Архипыч только тяжело вздохнул.

– А насчет безработных вон у бичей спроси. В Америке безработным пособия платят, говорят, мало. А у нас тоже пособие… в виде лагерного срока, небольшой тоже срок дают, но на них хватает.

– Эй, бичи! – крикнул Санька. – Как пособие?

* * *

Бичи угрюмо помалкивали, так как права голоса на зоне не имели. Даже мужики относились к ним с презрением. Хотя презирать их было, собственно, не за что. Было их в одной только нашей зоне несколько сот человек, а сколько по всем лагерным

зонам великой Сибири! И все они сидели по закону о тунеядстве или бродяжничестве, хотя были сезонными рабочими, и так или иначе, но где-то трудились, чтобы добыть кусок хлеба. Спившиеся матросы, работяги, сбежавшие со строек светлого будущего, или просто бродяги, не имевшие в этом мире своего теплого угла, – они постепенно опускались. Многим из них наш кошмарный лагерь казался чем-то вроде прибежища. Многие даже по концу срока из зоны не очень-то и хотели выходить. Идти ведь некуда – паспорт волчий, с отметкой, что сидел, родных нет. И все равно скоро опять посадят.

Несколько дней назад двое из этих бичей устроили даже своеобразный протест против своего освобождения. Ничего более бессмысленного, а потому страшного, я за всю свою жизнь не видел.

День их освобождения попал на воскресенье, когда на лагерную зону вместо отдыха обрушиваются всевозможные так называемые общественные работы и бесконечные шмоны. Сколько раз мы проклинали эти воскресенья. А тут еще начали строить всю зону поотрядно, просчитывать по пятеркам, особо тщательно обыскивать. И все из-за того, что два этих поганых бича куда-то исчезли, хотя должны были явиться на вахту и идти восвояси.

Только поздним вечером их нашла охрана в штабелях мусора и гнилых досок. Их долго били. Идти сами они уже не могли, да и жить им оставалось, по всей видимости, недолго. Охрана, если ей дают негласное поощрение, бьет исправно. Бичей тащили по земле. Двухтысячная зона хранила брезгливое молчание. Скольких за этот день обыскали и отняли последнее, что было: запрятанный чай, недописанные письма… и все из-за них.

Два окровавленных полутрупа конвой выбросил за ворота, на волю, на свободу. Мне показалось, что я сошел с ума, что человек не может видеть и пережить такое…

Кто-то тронул меня за плечо. Отрекшийся от «престола», бывший король блатных голубоглазый Леха Соловей смотрел на меня сочувственно:

– Тошно тебе, политик, мне тоже тошно. Пойдем, угощу чифиром.

Мы зашли к Лехе в барак. Он едва заметно щелкнул пальцами, и через три минуты кружка дымящегося запрещенного чайного настоя уже стояла перед нами. Он отхлебнул три ритуальных глотка и передал кружку мне со словами:

– Да, перестарались наши ребята… Ну доносили эти бичи, но ведь не по своей воле, а когда их менты прижимали. Не за досрочное освобождение, как активисты, а за хлеб, за лишнюю пайку. Я говорил блатным этим, не надо их слишком стращать.

Но те все грозили. Вот эти двое, очумев от страха, боялись за ворота лагеря выйти, думали – убьют. Да они же – не как этот «Кишка» Миронов, которого Егор вспорол, они никому срок лагерей не продлили, так, по мелочи стучали. Да кто бы стал им мстить! А видишь, испугались. Ну, а конвою только повод дай почки отбить – вовремя освобождаться не пришли… Они же у меня в бригаде работали оба, я им все время кашу свою отдавал, потому как лет пять уже ее не ем, тошнит, да видно, каша не впрок пошла. Долго после такого «освобождения» не проживут. А тебе, политик, жалеть их не следует, это уж наши дела, сибирские…

Я знал, что имеет в виду Лешка Соловей. Бичи эти, изголодавшись еще на воле, тянулись ко всему съестному беззаветно. Они и думать ни о чем другом, казалось, не могли. Они выпрашивали лишний черпак каши, выслуживались, где только можно, и, если начальство сулило им кусок сала, – они плакали, но доносили.

Помимо того, бичи, махнув рукой на свое будущее, опустившись, не стремились даже попасть в баню, которая устраивалась раз в десять дней. Они натягивали на себя всякое тряпье, и появлялись вши. А в каждой секции барака было человек по 80… Вши, они не разбирают – блатной ты, политик или бич, моешься ты или не моешься. Иногда, уже не в силах сдержать свою страсть к временному насыщению, бичи крали по мелочам – на крупные кражи они не решались. У кого пайку хлеба, у кого сигарету. А кража такая, по лагерным законам, есть самый страшный грех. Кража у своих – так называемое крысятничество. И тогда бичей били, страшно, жестоко били, но все же не так, как бьет конвой. Били остервенело, но нерасчетливо. Не раз я наблюдал эти расправы. Не раз мне приходилось отводить глаза в сторону, но сделать ничего не мог.

От бичей все ожидали только вшей и доносов, а что может быть в лагере страшнее вшей и доносов ближнего…

– Да, жалко этих ребят, – говорил Соловей, – но если ты распустил желудок, и он в тебе все перевесил, – считай, что тебе конец…

* * *

– Ну, так что, бичи, – как сквозь сон услыхал я повторный вопрос Саньки Арзамасского, – я вас спрашиваю, как пособие?

Бичи, затаившись, помалкивали. Архипыч о чем-то напряженно размышлял. Санька не унимался.

– Вон глянь на них, политик, сопят в две дырки, даже ушами не шевелят и мышей не ловят. Им один хрен – что калым, что Колыма, что водка, что пулемет, лишь бы с ног валило. Ты вот, поэт, какой там лозунг на Красной площади выкинул? «За вашу и нашу свободу», кажется? Стало быть, и за их свободу сидишь. А им какая свобода нужна? Им кто бачок с кашей выставит, тому и будут жопу лизать. Эх, народ! Да ну их всех в болото! Ты мне лучше вот что скажи, политик, ты-то хоть сам что-нибудь понимаешь в этой музыке, которую хиппи западные так почитают?

– Ничего не понимаю, – сознался я. – Ты бы что-нибудь полегче меня спросил, Санька. Еще Бетховена от Баха, или Брамса от Моцарта, это я, пожалуй, все же отличу. А вот где там «Роллинг Стоунз», тут я полный профан. Надо мной в Москве девицы всегда потешались за отсталость и старомодность.

– Во-во, – ликовал Санька, – за что я тебя уважаю, политик, – это за то, что лишнего на себя не берешь. Ежели знаешь, так знаешь, а нет, так прямо и говоришь. А то у нас все теперь «профессора», особенно если партбилет заимеют или диплом какой-нибудь, все тюльку гонят и лапшу на уши православным вешают, так что от этих баек потом год не отскребешься. Что до Бетховена или там Чайковского, тут я спорить не берусь. Тут дело серьезное, по консерваториям походить надо, послушать внимательно, а мне, сам понимаешь, недосуг как-то было. Все больше слух свой настраивал на тот предмет, чтобы определить, звенит у встречного что-то в кармане или тишина. Не до Бетховена было. Но я так думаю, что, ежели в старые времена люди эту музыку послушать собирались, и при всех королях музыканты в почете были, стало быть, неспроста это все, и не мне судить. Что до хиппи до этих, тут меня не проведешь, я их песни по приемнику на разных западных волнах не раз ловил. На гитаре-то и я не хуже сбацать могу, а в микрофон каждый дурак завывать наловчиться сможет, ежели к тому же и деньги платят.

– Постой-постой, Арзамасский, – вступился кто-то из знатоков, – а этого, который по-французски поет, да вот Монтана, ты слышал?

– Слышал Монтана, – отмахнулся Санька, – не понимаешь, про что речь, не лезь! Монтан – не хиппи, он с чувством поет и мелодии хорошие. Да я не про Монтана вовсе толкую.

– Раньше даже по нашему радио передавали песни Монтана, а теперь что-то не слышно, – вставил тот же знаток, – может, ты, политик, знаешь, что там с ним стряслось?

– С ним-то ничего не стряслось, – пояснил я, – просто у нас его запретили.

– За что запретили, он же не по-нашему поет, все равно непонятно, – разом заволновались все.

– Да как так, я же помню, – недоумевал Санька, – еще про него же и песня была советская: «Когда поет далекий друг…», – и дальше в том же духе. За что его так?

– А так, сняли с репертуара, – уточнил я, – он в фильме снимался про чешские тюрьмы, коммуниста играл, из которого свои же, партийные, показания пытками выбивали, ну как у нас. А его за эти съемки в нашей «Литературной газете» обозвали врагом мира и социализма. Пишут, Монтан во время съемок даже 20 кило веса потерял – так в образ вжился, ну то есть переживал за своего героя. Так к этому почему-то особенно прицепились в статье, клеймили, издевались – дескать, мол, ренегат, мало того, что в клеветническом фильме снимался, так еще и двадцать кило потерял! Как будто он их не потерял, а приобрел. Ну, короче говоря, заявили, как всегда, что нету тюрем при социализме. Так что Монтана урезали, и теперь шиш с маслом, а не Монтан, Краснознаменный хор Советской Армии за всех монтанов отпоет.

«Литературную газету», по каким-то неведомым причинам считавшуюся либеральной, хотя от других газет она ничем не отличалась, в лагерях не выдавали, и подписаться на нее тоже было нельзя. Поэтому история с Монтаном прозвучала как сенсация.

– Вот это да! – изумился Санька. – Вот сволота поганая, коммунисты вонючие! Мало того, что своим ничего путного ни спеть, ни сыграть не дают, так они и чужим указывать стали, где сниматься, а где не сниматься. Эдак ежели пойдет, они всех заставят петь «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек» или «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

– Ну я думаю, – возразил знаток, – у себя во Франции Монтан пока что хочет, то и поет.

– Вот именно что пока, – злорадствовал Санька, – там-то пока поет, а здесь, видишь, уже заткнули. Небось, и деньги ему в Москве немалые платили, а, политик?

– Не знаю, не считал, но думаю, были кой-какие гонорары.

– То-то, – рассуждал Санька, – а они его по карману ударили, оно, конечно, с голоду он навряд ли пухнет, но лишняя копейка никому не мешает. А он что же, не раскаялся, Монтан этот, не стал объяснять, что, дескать, по ошибке в фильм попал и готов немедленно исполнить гимн Советского Союза и встать на путь исправления?

– Насколько знаю, не раскаялся, – ответил я. – Он, понимаешь, приехал в Прагу свой фильм заканчивать, а тут как раз наши товарищи с танками нагрянули. Ему это как-то не очень

понравилось, хотя и толковали ему, что братская помощь…

– Во дает, – почтительно отозвался Арзамасский, – значит, на принцип пошел и на деньги плюнул. А я думал, там у них на Западе одни барыги, за лишний доллар орать будут, что угодно. А выходит, и там люди есть с понятием. Слышь, Архипыч! – продолжал он задорно. – А ты что по поводу этих «буги-вуги» думаешь?

– А я с тобой полностью согласный, правду говоришь, только глотку дерут, – как всегда, обстоятельно объяснился Архипыч.

– А ты-то, может, тоже музыкант? – подтрунивал Санька.

– Музыкант, не музыкант, а с издетства на гармони играть обучен, почитай, вся деревня завсегда собиралась послушать. – Архипыч даже зашевелил руками и морщился, стараясь высказаться позначительнее. – Песня, она от души должна идти, так вот, сама по себе литься должна, к примеру, как слезы из глаз иногда льются, если о чем хорошем вдруг вспомнишь или пожалеешь кого.

– А нам-то что же никогда не сыграешь? – спросил кто-то.

– Да где ж ее, гармонь-то, взять, ее только в клубе выдают для концерта, а там эту «Партия – наш рулевой» играть заставят.

– Постой, Архипыч, ты же вроде с начальством вась-вась, – начал было Санька, но вдруг оборвал на полуслове, вспомнив давешнее заступничество Архипыча за всех нас перед капитаном. Помолчал и смущенно буркнул: – Извини, батя, не то ляпнул… Бывает…

* * *

Я впервые видел Саньку сконфуженным. Арзамасский напоминал мне римского патриция не то сшитым, казалось, из одних жил и потому гибким телом, не то привычкой держать голову высоко и как бы неподвижно, будто он застыл перед пытающимся его изобразить живописцем. Как бы страстно ни говорил Санька, он никогда не считал нужным повернуться к собеседнику, будь собеседником мужик, блатной или начальник лагеря. Лицо его не покидала презрительная усмешка, и лишь карие, чуть выпуклые глаза стреляли из стороны в сторону, и казалось, что Арзамасский каждую секунду рассчитывает, сколько козырей на руках у противника и сколько еще осталось в колоде…

На сей раз он стушевался. Но и меня он здорово уел по вопросу о всеобщей демократии. «Прав он, наверное, – рассуждал я, – хорошо быть пацифистом за чужой счет. Хорошо кричать –

остановите войну – и молчать о лагерях.

Но что скажут эти прекраснодушные интеллигенты, которых Санька намеренно определил ходовым словом „хиппи“, когда начнут стрелять уже не в солдат, а в женщин и детей, во всех, кто попробует сбежать из рая, во всех, кто, и не сопротивляясь, покажется подозрительным. Во всех, кто верил в этот рай, а потом ужаснулись. А ведь возведению эдаких райских отношений к человеку вольно или невольно споспешествуют все эти профессора, студенты и либералы. Но можно ли будет спросить с них потом? Ведь они, по всей вероятности, верят в свою правоту и в свой „альтруизм“. А что возьмешь с альтруиста. Ничего с него не возьмешь. Даже осуждать его как-то неловко… Но Санька… Откуда он всего этого набрался? Ведь никаких университетов он не кончал, а рассуждает несколько логичней, чем доктор Киссинджер или Жан-Поль Сартр…»

Я взглянул на него. Санька даже не пошевельнулся, не вскинулся в ответ, как обычно. Очевидно, он был поглощен мыслями о роли Архипыча в мировой истории.

Даже на фоне блатных Санька выглядел франтом, законодателем мод и чистоплюем, кем-то вроде Оскара Уайльда. Был он всегда безукоризненно чисто выбрит, сапоги его блестели так, как будто к сапогам этим был приставлен лакей, телогрейка сидела на нем, как только что отутюженный по случаю званого приема фрак. В лагерную баню, где горячая вода появлялась раз в год и куда запускали нас раз в десять дней, Санька, судя по всему, ухитрялся ходить ежедневно. Впрочем, и все блатные, как из тех, которых Егор называл «шакалами», так и из тех, кого Леха Соловей именовал коротким словом «с понятием», все они следили за своей внешностью, поскольку срока у них у всех были немаленькие, а пренебрежение к своему внешнему облику – это шаг к падению, конечно, не такой зыбкий шаг, на который готовы пойти, махнув на все рукой, и доносить ради лишней пайки хлеба, но все же. Блатные держали фасон, а Санька всех исхитрялся перещеголять. Зная это, я сделал ему подарок. Дело в том, что вместе с плиткой чая передали мне шоферы зеркало – еще один презент в награду за участие в «антифеминистическом движении» путем разоблачения негодной ко времени западной моды. Повертев зеркало в руках, я подошел к Саньке и вручил его с торжественной усмешкой. Санька чинно поблагодарил и отметил:

– Ну ты, политик, выше нас, блатных, гуляешь, ценностями разбрасываешься, как граф Монте Кристо…

Много написано всяких баек о зеркалах, о стране Зазеркалья, но мало кто соображает, каково жить годами без зеркал. Даже

специалисты толком не знают, когда началась у нас в СССР борьба за лишение заключенных права пользоваться зеркалом… Когда и какие храмы ломали, еще можно установить. Когда стреляли интеллигенцию и священников – тоже, когда пытали верных ленинцев – точно известно, но когда начали искоренять зеркала в местах лишения свободы – этого никто не знает, известно одно – начали давно, а искореняют и по сей день. Объясняют этот запрет трогательной заботой о человеке. Дескать, арестованный может зарезаться или причинить зло ближнему. Добро б еще у нас государство было бы теократическое. Расхаживали бы по камерам священники, наставляли бы к тому, что самоубийство есть тяжкий грех. А то ведь сугубо атеистическое государство. Не то что священника в камере, но и Библии на свободе днем с огнем не разыщешь. Совсем непонятно, чего это так заботится власть о продлении жизни своих сограждан. Удивительная у нас психология повсеместно насаждена.

Все тот же советский классик Владимир Маяковский, революционный поэт, любимец всех коммунистических вождей, Эльзы Триоле и Луи Арагона, как-то весьма странно, на мой взгляд, отреагировал на самоубийство прекрасного русского поэта Сергея Есенина. Написал Маяковский по этому поводу нечто чудовищное: «В этой жизни помереть нетрудно – сделать жизнь значительно трудней». Вот мы, следуя завету Маяковского, дружно переделывали жизнь в лагерных зонах. Самую уникальную характеристику творчества Маяковского слышал я не от Арагона или Сталина, а от бывшего короля блатных Лехи Соловья. Когда у Лехи спрашивали «как жизнь?» – он отвечал диалектически: «Жизнь хороша и жить хорошо, как сказал Маяковский и тут же застрелился». Маяковский действительно застрелился и тем как бы оправдался за свои неуместные нравоучения и, в том числе, за высказанное в связи с гибелью Есенина.

Пожалуй, ни один из советских классиков не заслужил столь истовой ненависти среди сидевших и несидевших работяг, как этот пролетарский поэт. А стихи «деклассированного элемента» Есенина провозят по этапам и хранят бережнее, чем последнюю пачку махорки. Великий русский поэт Осип Мандельштам сказал о Есенине: «Есть один стих, который я не устану повторять… до самой смерти:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам,
Я всего лишь уличный повеса,

Улыбающийся встречным лицам».

Мандельштам не покончил жизнь самоубийством – его просто заморили в лагере. Лишив человека права на свободу, власти пытались лишить нас еще и права на последний выход из этой светлой жизни. Хорошо, конечно, указать, чтобы люди, находясь в тюрьме, жизнь без разрешения начальства не заканчивали, но при мне в 67 году, а не в какое-то сталинское время, выводили людей на расстрел из Лефортовской тюрьмы, выводили не террористов, не тех, кто «грабил лесом», а тех, кто был уличен в попытке частного предпринимательства. Но зеркала были запрещены под предлогом заботы о человеке, хотя заключенным выдают для каторжной работы топоры и пилы. А блатные боролись за кусочек запрещенного зеркала. Поначалу эта борьба вызывала у меня только ироническую усмешку. Но со временем я понял, что смешного-то, собственно, мало. Люди, которые годами не видят ни родных, ни близких, лишены возможности встретиться даже с собственным отражением… Да и что вся наша неподцензурная литература, все выставки запрещенных художников, все то, чем я жил до ареста, – разве это не попытки отыскать запретный кусок зеркала, очистить его от грязи и встретиться в этом зеркале глазами с самим собой хоть на минуту. А то ведь, куда ни глянь, везде воплощение трудового энтузиазма. Так что на воле даже в зеркало заглянуть многим страшно. А в лагерях зеркала запрещены. В центре зоны возвышался у нас соцреалистический плакат. Нарисован был какой-то дебил с потупленным взором, а рядом – не менее идиотического вида старший товарищ. Оба в комбинезонах цвета мышиного помета, и надпись: «Но помни, сын, что Родина и мать, и партия – понятия святые!» И становилось жутко от мысли, что со временем ничего и вправду не будешь помнить, и будет тебе казаться, что ты на одно лицо с этим самым дебилом. Правда, зеркало все же в нашей зоне было, но одно. Раз в десять дней заключенному не то чтобы разрешалась, но даже прямо указано было побриться. Страшной выглядела оборванная и съежившаяся очередь перед входом в «парикмахерскую». Стояли после работы по 3–4 часа и выходили с окровавленными лицами – выдавали лезвия, которыми не только щетину со щек, но и грязь с сапог соскрести можно было едва ли. Там было некое подобие зеркала, иссеченное и задрызганное, как лица, к нему на минуту обращенные… Блатные боролись за личный кусок зеркала, за личное лезвие, не только из желания свериться, жив ли еще, но из нежелания простаивать в унизительной очереди. Ежели находили у нас зеркала и лезвия

надзиратели, то зеркала эти разбивали, лезвия ломали, а нас лишали свидания с родными сроком на год…

Поскольку Санька сидел давно, он хорошо знал цену собственному отражению. Но меня удивляло, откуда он может так хорошо знать цену людям, о которых едва слышал и к которым, казалось бы, никаких личных претензий иметь не мог. Какое ему действительно дело до так называемой прогрессивной общественности Запада? И почему он вдруг так стушевался перед Архипычем, кондовым мужиком, хоть и честным, но доносчиком? Конечно, все мы знали, что Архипыч за лишнюю пайку хлеба, то есть за благо начальское, доносить не пойдет. А доносить пойдет только за «справедливость». Не станет он докладывать, кто варит чифир, но вот кто не работает, непременно доложит… Только ведь в карцере все равно, за что сидеть – за чифир или за уклонение от исправительного труда… Да и можно ли презирать человека, который доносит на тебя просто потому, что хочет есть, – подумал я тревожно и поглядел на бичей, но ответа не нашел…

Рефрижератор, наконец, подкатил к «жилой» зоне. Конвой дорогой измотался. Шмонали как-то вскользь, и Санька с легкостью пронес на зону заветное зеркало.

* * *

Лешка Соловей мастерил из сказки быль на другом объекте строек будущего и был уже в зоне, когда нас туда загнали. Конечно, весь лагерь слышал о нашем доблестном заплыве, хотя никто по радио об этом не объявлял. Так же, как, пользуясь одной газетой «Правда», Санька Арзамасский быстро раскидывал в уме, что к чему и кто кому голову дурит, Леха Соловей какими-то неведомыми путями знал, что с Егором в одиночной камере смертников, что случилось с тем или другим активистом, досрочно покинувшим наш исправительный рай, что затеяла администрация, и про мое участие в заплыве знал еще до того, как наш рефрижератор подкатил к зоне. Лешка вызвал меня в свой барак тут же.

– Вот что я скажу тебе, политик, – заявил он, – у тебя нервы сдают, а это плохо. Мне этих идиотов не жалко, блатных этих, хрен с ними, пускай лезут под пули.

– Как не жалко, – удивился я, – это же твои друзья, блатные.

– Блатные! – презрительно усмехнулся Леха. – А завтра, если прижмут, так и тебя, и меня с потрохами продадут! Только Гешка да Санька – свои ребята, а остальные – на пять минут храбрые! А ты с ними, на подвиги тебя потащило! Это тебе не Ла-Манш переплывать, тут тебе телекамер нет!

Лехе не надо было объяснять «географию». Он с удивительной настойчивостью выписывал на свои кровные заработанные денежки все газеты и журналы, разрешенные на советской лагерной зоне…

– Да, – вздохнул Леха, – все поэты, конечно, как были чокнутые, так и есть. Но ты ведь хоть что-то сможешь написать или рассказать. А эти, что с них взять, так, шпана, головорезы непутевые…

Я вдруг почувствовал физическую тяжесть от слов Соловья: «Ты же сможешь написать или рассказать кому-то!» Мне захотелось крикнуть: «Да нет, я не подряжался, может, мне и не хочется писать об этом, да и как об этом напишешь – все равно никто не поймет!»

И тут я понял, что никогда уже не смогу писать о музыке, которую так любил, о природе, о любви, никогда ничего не получится! Никогда и ничто не захватит мою душу целиком и полностью – ни море, ни закат, ни Бах! И только то, что будет отдельной нотой напоминать мне сегодняшний чей-то крик: «Стреляй, гад! Все мы там будем!» – только это тронет сердце. Я

как-то скорчился всем нутром, как человек, которому ласково сказали: «Вы безнадежно больны».

* * *

– Ты что, политик, побледнел и заскучал как-то? – услышал я голос Соловья. – Я же тебя не хочу обижать, ты только пойми, тут тебе не Красная площадь и не английская тюрьма – корреспондентов нет. В побег не уйдешь, до заграничных посольств не доберешься – Сибирь, а если и доберешься – назад выдадут, никакое ООН не поможет. Ты бы лучше вот что, силы поберег. Сейчас шнырь чифир принесет. А там я скажу Гешке, чтоб наблюдал, как бы тебя не искалечили. Вот глотни чифирку после купанья, взбодрись.

Я не стал объяснять Лехе, что рекомендовать меня Гешке Безымянову – дело излишнее, мы и так с ним были связаны, помимо прочих цепей, какой-то странной цепью совместных усердий в эпистолярном жанре, дорожных видений и тем, что он отправлял мои стихи, как свои, а я воспринимал его глубоко запрятанную боль, как свою…

Рассвет неторопливо поднимался с горизонта и, пошарив по нарам лучом солнца, от которого заключенные испуганно шарахались, взваливал на наши плечи очередной непосильный день. Как гласит лагерная поговорка, «лучше летом у костра, чем зимой на солнце», и оценить ее по достоинству может только тот, кто на себе испытал, что значит, разгребая руками метель, добраться до барака, сорвать дырявые рукавицы, вцепиться в собственные пальцы зубами и ничего не почувствовать… Но летнее сибирское солнце тоже не тульский пряник. Когда в тени плюс 35 по Цельсию, на плечах шпальный брус, а по обнаженной спине течет уже не пот, а кровь. Гуманное начальство для облегчения труда выдавало нам нечто наподобие хомутов – подушки, набитые чем-то, отдаленно напоминавшим вату. Подушки эти набрасывались на плечи и двумя тесемками крепились вокруг шеи. Приспособление это помогало мало. Спина все равно оказывалась в кровавых подтеках, зато тесемки при каждом неловком движении давили горло наподобие петли.

– Эй, политик, – крикнул Гешка, когда я обессиленно рухнул на доски, – давай на баржу! С баржи шпалы разгружаем, там кран работает, будем только цеплять шпалы к стропам, я и один справлюсь, а ты отлежишься!

Шпальный брус был беспорядочно навален на баржу, и я старался хоть как-то помочь. А вольный крановщик все время

делал вид, что с механизмом что-то не ладится. Он был тюменским, местным, боялся, что расправятся, если будет особенно усердствовать, да и вообще соображал, что к чему. Все шло неплохо. Крановщик махал руками с раскаленного неба, желая показать, что с мотором перебои, мы с Гешкой забрались в чащу шпал… И тут случилось непредвиденное: баржу оторвало от причала, и мы услышали первую предупредительную очередь в воздух… Река Тура несла нас к смерти.

Все люки, ведущие в трюм, были завалены проклятым шпальным брусом. По слизи мокрых бревен мы скатились вниз, на палубу, и замерли.

– Кто на вышках? – коротко бросил Гешка.

– Чучмеки, – ответил я, – сегодня видел Ахмета…

– Да этот точно отправит поговорить с Аллахом. А ты ему еще про Коран толковал…

– Может, в воду прыгнем?

– Куда прыгать, – цедил сквозь зубы Гешка, – уже на самую середину отнесло, в воде точно пристрелят.

– Может, руки вверх подымем в знак того, что мы ни при чем?

– Подымай, не подымай, политик, все равно этот азиат выстрелит. Хрен я им перед смертью руки подыму…

Баржа все стремительней приближалась к незримой черте, делившей на воде запретную «свободную» зону от зоны исправительной. Мы точно теперь видели, что на поплавке, в своем скворечнике, качался именно Ахмет. Он, как бы нехотя, выплюнул чинарик и прицелился. Одновременно со стороны вахты взмыли в воздух три ракеты.

– Что ж, и здесь без салюта обойтись не могут, – усмехнулся я.

Страха не было. Было только горькое черное чувство собственного бессилия. Ничего не знал и не знаю я на земле, нет, не страшнее, тошнотворнее этого чувства…

Гешка отозвался, не меняя обычной своей интонации:

– А это, политик, как на парадах наших… Если случайно жив останешься, напиши Люде этой – погиб, дескать, смертью храбрых, но коммунистом просит не считать.

– Это рыжей, что ли? – не удержался я. Я не увидел, но почувствовал, как он смерил меня презрительным взглядом.

– Откуда я знаю, рыжая она или нет. Я ее в кино не видел.

Баржа медленно пересекала финишную черту. Пять или шесть пуль ударили по шпалам. Снова пошли куда-то вверх три ракеты.

– Эх, бля, всего три года не досидел, – вздохнул Гешка, – зато, кажется, нас освобождают досрочно…

Я даже не заметил, как Ахмет перестал целиться и стрелял поверх голов, и как где-то за нашей спиной затарахтел катер.

Погоней, на сей раз спасительной, руководил начальник конвоя, молодой лейтенант из Москвы, никогда не просыхавший. Мы умиротворенно наблюдали, как нас настигает катер. Лейтенант, как-то нелепо раздергивая пятерней вечно слипшиеся, но залихватские кудри, крикнул еще издалека:

– Живы? Ранены?

– Все в порядке, начальник, – отозвался Гешка, – все, как в аптеке на весах, какие были, такие и есть.

Катер подчалил. Лейтенант, трезвея и потея, самолично помог нам перейти на борт сторожевого судна…

– Ну что, колумбы, в Америку собрались, – подхихикивал он. – Ох, мать их за ногу, во всех войсках хоть какой-никакой, а нормальный народ, а у нас в конвое одни эти косоглазые! Сколько раз говорил им – без приказа не стрелять, а они – «указа есть, товарищ лейтенант, устава выше тебя». За Саньку Арзамасского свечку ставьте. Мы-то, конечно, перепились на вахте, дверь изнутри закрыли. А он, как увидел, что вас на запретку понесло, кинулся к вахте и дверь вышиб. Как уж он исхитрился, не знаю. Смена за автоматы схватилась, думали – бунт, а он прямо на дулы прет и кричит: «Ты, лейтенант хренов, хватай свою ракетницу, политика с вышки идиоты расстреливают! Шевелись! – кричит. – Не то я тебя самого замочу! Баржу оторвало!» А я спросонья никак вспомнить не могу, в какой очередности ракеты пускать, чтоб стрелял конвой, а в какой – чтоб не стрелял. А он вопит: «Соображай быстро!» И сам за ракетницу. Слава Богу, вспомнил! Ну, а потом к катеру кинулись. Саньку благодарите. Вот тебе и вор в законе! Я думал, ему хрен по деревне, гори все огнем, лишь бы обчистить кого с изящным видом…

Катер медленно шел против течения, катер приближался к рабочей зоне, где все резонно полагали, что везут наши с Гешкой трупы. Когда мы сошли на берег, я был поражен всеобщим ликованием. Мужики и блатные, бичи и активисты пожимали нам руки, бросались навстречу… Все мы чтим погибших, но с особенным пиететом всегда относимся к тем, кто избежал верной гибели.

В годы знаменитой послесталинской реабилитации возвращались из колымских непроходимых шахт, из пыточных камер те, кто чудом выжил. Их встречали почти воодушевленно доносчики и вершители их двадцатилетней каторжной судьбы… «Петр Сергеевич, а мы думали, Вас уж давно в живых нет…» «Лев Александрович, как же, помним, не забыли. Заходите, чем богаты,

тем и рады. Если нужно чего, так не стесняйтесь – мы позвоним кому надо, в партии быстро восстановят, у нас связи. Ну, а за прошлое не взыщите, такое время, знаете, было»… Сколько трогательных этих рассказов я слышал, а теперь стал героем очередного рассказа…

– Ну ты, политик, живуч, – брякнул кто-то из активистов, – мы думали, хоронить придется.

– Хоронить-то не вам, – усмехнулся я. – Эта честь предоставлена только лагерному начальству. Вас даже по такому поводу за зону не выпускают.

Вокруг дружно засмеялись. Я не чувствовал никакого облегчения. Тупо и безжалостно сознание собственного бессилия. Чувство это в себе никак не уймешь, от него никуда не сбежишь. Проходят десятилетия, на нас все так же доносят, стреляют в нас без повода, а мы все так же должны извиняться за то, что живы… Я взглянул на плавившееся над головой солнце – оно было белым – и на лагерные робы обступивших меня товарищей по заключению – они были черными. Мне померещилось, что краски уходят от меня, что отныне я буду видеть мир только черно-белым… Да и какие краски могут быть в мире теней, а ведь я только что оттуда. Мне стало нехорошо. Я отошел в сторону, меня рвало.

– Эй, политик! – услышал я рядом голос Саньки Арзамасского. – Тебя что, от качки мутит?

– Да нет, Санька, – пробормотал я, – смотреть на всю эту сволочь тошно. Спасибо, что выручил…

– Не за что, я сейчас распоряжусь, чтоб кое-кто подсуетился тебе тоску разогнать. Эй, гражданин начальник, позвольте на минуточку, – как всегда не оборачиваясь, обратился он к лейтенанту.

Тот подошел к нам, угрюмо посапывая и ожидая какой-то неприятности.

– Вот что, гражданин начальник, – объявил Санька, жестом факира вытащив из-за голенища сверкающего сапога три смятые бумажки, – надо, так сказать, отметить счастливое плавание и вашу доблестную оперативность. А то вон политик – человек интеллигентный, его от стрельбы мутит. Так что гони, начальник, кого-нибудь из шоферов за водярой. Пять бутылок на твой стрелковый взвод, ну и шоферам подкинь, а тебя мы лично приглашаем.

– Да ты что, – неуверенно начал лейтенант, – тут денег куча, вы же все-таки заключенные, может, я чего добавлю?

– Добавишь?! – усмехнулся Санька. – Ты гляди лучше в оба, чтобы твои орлы без повода людям в голову пулю не добавили. А

о деньгах моих не заботься. Ежели хочешь, в карты сыграем, только боюсь, что ты тогда не только без погон, но и без сапог останешься.

Играть с Санькой в карты лейтенанту никак не улыбалось. Все знали, что ни один из тех, кто садился с Санькой за карты, не оставался без долгов. Да и голова болела у лейтенанта так, что он, потоптавшись для приличия на месте, рысью кинулся на вахту снаряжать незаконную экспедицию за водкой.

– Слушай, Санька, – сказал я, – может, Архипыча пригласим?

– Архипыча, – растянул Санька, – это идея, это резон, ты, политик, всегда что-нибудь выкинешь!

Послали за Архипычем. Он явился в штабель досок, где мы укрылись. Впрочем, надзиратели к нам не приближались. Мы с Гешкой были именинники, как бы заново рожденные, и никто нас на сей раз не тревожил.

– Чего надо? – спросил Архипыч, по обыкновению хмуро.

– Нам-то ничего не надо, – отозвался Санька, – ты бы, Архипыч, уважил, составил компанию побеседовать.

– Это можно, – подумав, согласился Архипыч, но встрепенулся, увидев приближающегося лейтенанта.

– Не волнуйся, Архипыч, это так, стол накрывают, – сообщил Санька.

– Водка, что ли? – забеспокоился Архипыч. – Это я не могу. Конвой есть конвой, а лагерное начальство – другое ведомство, поймают – нарушение запишут, плохую характеристику дадут, а за меня вон как раз политик на помилование написал.

– Архипыч, – укоризненно покачал головой Санька, – кто ж тебя заподозрит? Если поймают, так нас. Сам знаешь, нас каждый день и конвой, и надзиратели заставляют в кулек бумажный дышать. А тебя! Кто ж тебя заподозрит! Ну а что до помиловки – я сам знаю, политик ловко пишет, но будь он хоть Лев Толстой, тебе бы и это не помогло. У нас не прошлый XIX век, писателей не очень-то слушают. Но зато, как видишь по политику, всячески жалуют, и почести у них, как у нашего брата, в виде стрельбы…

Архипыч погрузился в размышления над Санькиной тирадой. Вряд ли он читал Льва Толстого. Он думал, что попал в передрягу по безграмотности, но то, что я сидел вместе с ним, окончательно сбивало его с толку. Выходило, что и грамота – не особая подмога.

Подоспел лейтенант. Гимнастерку его распирало от поспешно запрятанных бутылок.

– Вы чего это? Мужик вон здесь с вами, донесет ведь, – зашептал он.

– Начальник, ты начинаешь меня утомлять, – отметил

Санька, – кто сидит, мы или ты? Мы сами знаем, кто донесет, а кто не донесет. Разливай!

Лейтенант засуетился, доставая стакан из кармана и кусок колбасы из сапога. Первый стакан вручили Архипычу. Колбасу Санька разломил пополам, один кусок дал Архипычу, другой – лейтенанту.

– А вы-то что же, – забеспокоился начальник, – это не какая-нибудь дрянь, это мне из Москвы прислали, в Тюмени давно такой нет.

– Желудок нельзя баловать, – пояснил Гешка, – а то его не уймешь, желудок этот проклятый, когда в карцер на хлеб и воду загонят, а нам по карцерам еще сидеть да сидеть.

Архипыч лихо дернул стакан.

– Эхма, – заявил он растроганно, – почитай, три с половиной года не пригублял, а ведь люблю ее, проклятую.

Стакан двинулся из рук в руки, как будто мы передавали друг другу факел негасимой дружбы.

– Вон оно как бывает, – заглатывая колбасу, рассуждал вслух Архипыч, – я-то думал, вы так, блатные, и политик вместе с вами, только и думаете, чтоб от работы улизнуть.

А вы людьми оказались. Я-то ведь, прости Господи, на вас доносил…

– Что доносил, – это мы и без тебя знаем, – оборвал Санька. – Вон политик за тебя жалобы пишет твои дурацкие, а он болен, и его ни один даже вольный врач освободить от этой работы не может.

– Ты что же не сказал? – жалобно обратился ко мне Архипыч. – А я-то дурень, я все потому, что думал – всем поровну работать нужно. Это у нас вроде везде закон такой.

– Да, поровну! – смеялся Санька. – Вон тебя за починку трактора засадили, половину денег на содержание начальства вычитают, а остальное – за убыток социализму. Тебе даже на махорку в ларьке и то не хватает. А ты все с жалобами. А они – за то, что твои жалобы в корзинку выкидывают, на свою машину и икру получают. Вот тебе и «поровну». И никто тебя не освободит за твой верный труд – ты же красную повязку не наденешь, и про то, что мы тебя угощаем сегодня, докладывать не побежишь. Ты только насчет всеобщего равенства касательно труда доносишь, а это давно никого у нас не волнует. Ты все думаешь доказать, что ты честный, но таких-то как раз и не освобождают досрочно. Раз уж честный, так и сиди. Вот если станешь стукачом по всем статьям, если оговаривать людей научишься, протоколы липовые подписывать, тогда, может, и освободят, и то неизвестно – могут и до конца срока для пользы дела в зоне продержать. Подкинут

маргарину – и весь тебе праздник.

– Да как же так?! – сокрушался захмелевший Архипыч. – Я же всю жизнь вот своими руками все делаю, я же работяга. Всего себя на мозоли извел, а выходит, что ты лучше меня, и принципа в тебе больше, а за тобой сколько лихих дел числится!

Санька откинулся на штабель, как на спинку позолоченного кресла, и безмятежно уставился в небо.

– Станешь лихим, если сильно прижмут, а гнуться не захочешь. Вот и фамилия у меня – Арзамасский – тоже ведь личности не соответствует. Как это у вас, политик, называется – псевдоним, что ли?

Архипыч опять встрепенулся:

– Это ты брось, у нас какая кому фамилия дадена, такая до смерти и есть.

– Ну да, что же там большевички ваши под псевдонимами числились, кого ни возьми – Ленин, Сталин, Троцкий – открыто под своей фамилией неохота выступать было. А я так – привезли в детский дом, фамилию спрашивают, а я, естественно, молчу. Они меня бить принялись, но от меня битьем-то мало что добьешься. Три дня упражнялись, потом установили, что я в Тюменской области нарисовался, хрен сотрешь, будучи пойман в поезде, который шел из южного города Арзамаса. Так Арзамасским и записали. Ты, Архипыч, тоже родом из южных мест, родители-то раскулаченными были, в тайгу привезли, так или не так?

Архипыч выпучил глаза:

– Да откуда же ты знаешь, это и начальство лагерное не знает?

– Эх, Архипыч! Невелика наука – работаешь ты больно споро, все мастерить умеешь, стало быть, из семьи, в Сибирь сосланной за то, что любимую корову отдавать в колхоз не хотели. Больно ты большой специалист, таких мужиков теперь нет, всех извели и закопали в землю без крестов.

Папаню моего, как и тебя, в Сибирь щенком привезли, одних годов с тобой будет. Дед мой, видишь ли, поверил в 20-е годы заверениям большевиков о пользе частного сектора, ну и проявил скромную инициативу. Потом этапом в Сибирь доставлен был. Полсемьи дорогой вымерло, как и у тебя, небось, Архипыч…

Архипыч мял в руке стакан, как мнут шапку просители. Мы налили ему еще, до краев налили.

– Ну вот, – продолжал Санька, – папаня мой, не в пример тебе, к сельской жизни с детства не привыкал и, понятно, решил, что помрет в тайге ни за грош. Документов, сам знаешь, ни ссыльным, ни семьям на руки не выдавали тогда, да и сейчас не

выдают. Так что начал он с подделки бумаг, ну и пошел в гору. Сошелся с ворами. Тогда при «любимом» Сталине ворье в полный рост гуляло, не очень-то на нашего брата внимание обращали, все больше чистками партийными занимались, да интеллигентов и священников травили. Короче, жил мой папаня припеваючи, да и в лагерях не скучал. Виднейшие прокуроры, коминтерновцы разные и прочие артисты ему закурить подносили и портянки стирали. Батя мой и вся их компания так полагали, что ежели за политику сидит, значит – бывший начальник и коммунист, тем паче что по лагпунктам лекции закатывали – дескать, кто за политику попал, – все фашисты. Ну так честное ворье над ними и измывалось, не предполагая, что самих в политику втравят. Началась война с немцами. Всем, кто по воровским статьям сидит, предложили вперед, на фронт. Год в армии три года тюрьмы списывает. Тут пошли толковища, закон воровской построже нынешнего был: не имеешь права ни работать, ни как-либо сотрудничать с властью – иначе ты не вор, и каждый с тобой может что угодно сделать безнаказанно. Пахан мой был из числа тех, кто воровской закон до конца отстаивал – дескать, сами воюйте, что же мы, без прав остались, а за вас воюй. Но многие пошли. Вот по сей день пишут: армия Рокоссовского, а армия-то – одни бывшие блатные да бытовики, их еще тогда поляками называли. Многие из папаниных корешков до Берлина дошли. А куда денешься – позади погоняльщики с автоматами, тут не то что до Берлина, до Нью-Йорка дойдешь, а в океан только плюнешь. Грабить разрешалось, но долго на немецких тряпках не проживешь, и те, кто в живых остались, опять отправились на лагерные зоны, но те, кто из лагерей под предлогом войны не выходил, их не приняли, как своих – «закон нарушили, власти служили. К начальству за подачками бегаете. Сегодня у вас предлог – война, а завтра и вовсе коммунистам служить начнете, суки». И началась бойня. Как ты мне слово-то говорил, политик, которое к делу подходит очень, да, «отверженные». Так вот отверженные эти сразу же на вахту кинулись к начальству: дескать, мы фронтовики, мы за вас сражались. Поначалу им все посты дали – и бригадиров, и каптерщиков, все, что было теплого, все у них в руках. И стали они гнуть и давить воров, закону верных. Но не знали, что какой-то умник из сталинской гвардии уже отдал приказ: «преступный мир должен сам изжить себя». Ну тут и началось. Разразилась «сучья война». А начальство наше только войной этой руководило. Привозят, скажем, этапом воров на зону. Они спрашивают: «Зона-то какая, воровская?» – «Не волнуйтесь», – убеждает начальство. Заводят в зону, а там сучня, уже к прибытию гостей подготовленная. И наоборот. В общем,

сколько в этой резне народу погибло, не счесть. Только указ правительства о том, чтоб сами себя извели, был не только выполнен, но и перевыполнен. Аптекари ментовские каждый день рассчитывали, кого в окружение загнать – воров к сучне или сук к ворам, до полного истребления. Суки стали везде во главе и вели себя похлеще нынешних сэвэпэшников. Воров в законе все меньше и меньше оставалось. А когда на Воркуте началось восстание, которое политики организовали, тогда многие из компании моего папани ужаснулись – за что, мол, мы их гоняли, ездили на них верхом, но поздно было: воров стали уничтожать как класс. Многие помогали, когда политики восстали, да и заключенный в лагере не то чтобы изменился особенно, а просто понял, что терять нечего. Среди тех, кого политиками называли, много было народу, которого из германских лагерей в наши перегнали, и срока у них были такие, что все равно не отсидишь… У нас все толкуют издавна, что дети за отцов не в ответе. А я вот уже в третьем поколении в ответе… После войны с особым наслаждением принялись очищать города и деревни ото всех, кто мешал, как это называлось – «реконструкции». Добрались и до семей воровского нашего сообщества. Десять лет мне было, когда в первый раз на допрос потащили, пару дней упражнялись, вернулся я изрядно помятым. Все одни и те же вопросы: «Кто в доме бывал, назови». А заезжали папанины друзья – кто на ночь, кто на неделю. Я не то чтоб их любил, так, хамье, драки по ночам, кровавые слезы, бабы в очередь, кто угостит… Нет, не любил и легендарного папаню моего, который у них верх держал, тоже не любил, да и не помнил его толком.

Только и в школе стали потихоньку так убеждать – доноси, мол, доноси, и все красным галстуком охомутать старались. Я отнекивался. Ну, а когда с допросов настоящих домой затащили, мать ничего не сказала, только пошуршала где-то, достала пачку бумажек и сунула в карман на дальнюю дорогу…

С тех пор и бегаю, – усмехнулся Арзамасский. – Когда забрали в первый раз в детский приемник, так принимали по всем правилам. Все пытались дознаться, откуда я такой шустрый да бойкий и в какой разряд меня записывать. Детский дом у нас для «особо опасных» и неперевоспитуемых малолеток похуже любого лагеря был. На каждого шпанюка и беспризорника, вроде меня, по два-три воспитателя из тех, кто из нашего брата, да ссучился и по струнке ходил, кулаки расправляя, за вольный оклад и комсомольскую рекомендацию в «светлое завтра».

И каждый норовил за нос ухватить или в морду плюнуть, дескать, – воровское отродье… Тут я и порешил, что ежели все равно такую этикетку приклеили, то пусть хоть не зазря штамп

ставят на лбу и на сердце. Ну и пошел в бега и в разъезды… Так что смех смехом, – закончил Санька, – а вот, как ни крути, ты, выходит, – потомственный крестьянин, я – потомственный авантюрист, а вот политик, кажется, – потомственный интеллигент… Ты как, политик, потомственный интеллигент или только так, с виду?

– Да вроде бы потомственный, – ответил я.

– Вот видишь, Архипыч, – удовлетворенно отметил Санька, – и все мы сидим благополучно. А гражданин начальник нас сегодня на мои отыгранные у здешней блатной аристократии денежки с большим удовольствием водкой поит. А его орлы, избрав политика мишенью, с час назад в стрельбе из автомата упражнялись… И тебе еще какая-то справедливость нужна. Все нормально. Дай я тебе еще плесну в стакан…

Лейтенант тоже подставил тару – плеснули и ему.

– Глупо это, а все из-за бабы, – неожиданно объявил он.

– Что из-за бабы? – не понял я.

– Ты что, лейтенант, – засмеялся Санька, – тебе что, гарем приснился, какие у нас бабы? Тут на нашей рабочей зоне есть, правда, три красотки, штабеля пересчитывают, вольные, но это так, только после литра можно. Ты уж расскажи, что «из-за бабы»?

– А то, – неловко отмахнулся лейтенант, – что все это со мной из-за бабы, ну вот таких людей, как ты и политик, стерегу. Меня тут все москвичом кличут, а какой я москвич! В поселке рос верст за сто пятьдесят от Москвы. Так бы все ничего, конечно, могли и на работу неплохую пристроить – техникум я кончил, да и вообще сообразительным парнем числился. Но вот девица подвернулась, Ниной зовут, чернявая такая, белая и задумчивая, я и стал ей мозги пудрить, дескать, много предложений из московских университетов, дескать, решаю, какой выбрать. Ну, съездил в Москву – никуда не приняли. Один какой-то прыщавый, но деловитый комсомолец посочувствовал – вы, мол, позвоните от моего имени в ЦК ВЛКСМ такому-то. Ну и позвонил. Устроили в школу, чтобы начальником быть конвоя… Я сначала думал запротестовать, мол, не надо мне этого. Но рядовым-то в армию тоже не хотелось, освобождают от армии хоть не всех, но половину студентов, а мне так или иначе под ружье. Да и не в этом дело. Не так меня стрельба на китайской границе волновала, а больше хотелось перед Ниной фасон показать. Я так полагал, что она не поймет, в каких я войсках. Может, подумает, что в генеральном штабе. Только пощеголять не удалось. Приставили вот к вам главным охранником, чтобы вы, значит, линию огня не пересекали… А невеста моя до Москвы добралась и даже как-то пристроилась. Я долго ей не писал – стыдно было, все же не

космонавт, а потом решился написать. До того неделю пил беспробудно, а потом объяснил, что послали, вопреки желанию, по офицерской разнарядке на сложные объекты. Вот и про тебя, политик, упомянул, что, дескать, знакомы, хотя до сегодняшнего дня мы и словом с тобой не перемолвилися, ну, в общем, наврал. А она мне вот что ответила.

Лейтенант расстегнул китель и протянул мне аккуратно сложенное послание.

– Можно вслух прочесть? – спросил я. Лейтенант только махнул рукой.

«Дорогой Валерий! Во-первых, очень рада Вашей откровенности, и откровенность – это то, что рождает любовь. Это не помню откуда, но из какой-то самой замечательной классики. Во-вторых, я никогда Вас не упрекну, в каких войсках Вы служили. Я же сообщаю о себе следующее: в институт сразу же поступить не удалось, потому что большой конкурс. Но я пока устроилась машинисткой в один очень секретный институт, о котором я Вам, Валерий, не имею права писать, так же, как и Вы, не можете сообщить мне о своей жизни подробности. Но с другой стороны, я была очень тронута тем, что Вы, невзирая на устав, так доверяете мне, что упомянули о том, что охраняете в настоящее время столь известного человека, как Вадим Делоне. Помнится, мы виделись с ним в Центральном доме литераторов…»

– Тут что-то не так, про Дом литераторов, – сказал я лейтенанту, – я и бывал-то там всего раза три и никогда не выступал. Девочка меня с кем-то путает.

– Путает или не путает, откуда я знаю, – насупился лейтенант. – Ты дальше читай.

«Дорогой Валерий! – писала Нина. – Я еще сначала сомневалась, как по этому поводу следует поступить, но потом поговорила с девочками, которые сидят в моей комнате и тоже печатают, и те сказали мне: „Нинка, ты дура, сразу видно, что из провинции. Про этого с французской фамилией десять раз по «Голосу Америки» передавали, а твой хахаль его сторожит. Попроси-ка его, чтобы поэт этот для нас хоть какой-нибудь стих написал“. Надеюсь на скорую встречу с Вами. Думаю, что Вы служите исправно, и за заслуги могут дать Вам отпуск. Помнящая Вас Нина».

– Ну ты, политик, и попал в переплет, – хохотал Санька, – то в тебя стреляют, то стихи пиши!

– Эх, Арзамасский, ты хоть и умен, пронзительно умен, но не понимаешь, что писать – все равно кому и где! Важно только одно – *что* ты пишешь. Если здесь дал слабину, значит, пропал. Вот хочешь – хоть про сегодняшний день напишу пару строф и

отправлю лейтенантовой невесте. – Я выпил еще глоток живительной влаги и стал писать на огрызке из записной книжки, которую всучил мне гражданин начальник. Глядя на книжку, я с удивлением, но без раздражения заметил, что пишу свою лирику между строк о том, кого из конвоя за какую провинность лишить таких и таких-то благ, а кого и посадить на гауптвахту. Я безмятежно вывел между строчками приказов:

Эх, приверженцы новых владык,
Кто от жизни оставил мне толику!
Мне живой бы напиться воды
Из колодца московского дворика.
Я один, словно сорванный с круч
При падении треснувший колокол,
Ветер тащит скопления туч
Сквозь колючую проволку волоком.
Эх, трясина штрафных лагерей!
Сколько дней и ночей, сколько месяцев
Ты урвала у жизни моей
И смешала в безликое месиво!
Но какие же, судьи мои,
Вы на душу запреты наложите!
Отлучивши меня от земли,
От Небес отлучить вы не сможете!
Что ж, охранники новых владык,
Пусть поют вам осанну историки…
Мне живой бы вот только воды
Из колодца московского дворика.

Я просто дурачился, хотел показать лихость, но стихи мои и вправду дошли до Москвы и покатились по рукам… Так перебрасываются в море разбитыми камушками, осколками раковин, которые хранят в себе гул прибоя, скрип каравелл и чье-то последнее дыхание…

– Ну, ты даешь, политик, теперь я ей покажу культуру! – самодовольно приговаривал лейтенант, перечитывая написанное. – Ахмета этого, который по тебе пулял из автомата, заморю. Так устрою, чтобы из гауптвахты да из штрафных нарядов не выбирался, сам на тот свет запросится!

– Вот этого прошу не делать, – отозвался я, – личная просьба – не трогать.

– Отчего же? – изумился лейтенант. – Ведь он тебя, политик, чуть не угробил сегодня?

– Эго ты брось, – встрепенулся молчавший до сих пор

Гешка, – просто расклад такой пошел: Арзамасский тебя припугнул, а то бы вместо стихов, которые политик тебе пишет для твоей шалавы московской, записывал бы в ту же карточку благодарности Ахмету и поощрение в виде недельного отпуска «за удачный обстрел пытавшихся бежать особо опасных лиц».

– Видишь, начальник, – смеялся Санька, – пострадавшие о прощении мучителей просят! Такого в кино нашем не показывают, говорят, в старинных романах бывало, только у нас на зоне таких книг нет. Ну, вы меня совсем уморили, ребята! Может, ты, поэт, и папане моему напишешь?

– Да, а что, собственно, с отцом-то с твоим стряслось? Ты как-то рассказ не закончил, – осведомился я.

– Да ничего особенного не стряслось. Как сидел, так и сидит, два раза, правда, выходить изволил, но ненадолго. Только вот он с самого начала этой знаменитой сучьей войны за свой воровской закон держался. Глупо, конечно, но резонно. Двадцать лет его ножами царапали и все внутренности отбивали, а он все одно: «Я – вор в законе». А теперь глянь, политик, что пришло мне на зону. – Санька нехотя вытащил из кармана телогрейки скомканный листок. Газета называлась витиевато: «На свободу с чистой совестью!» – и была в ней статья, подписанная Санькиным отцом, о том, что он участвовал в разных бандитских группировках, направленных против советской власти и добродетельного государства… и слезно раскаивается.

– Видишь, политик, – все больше хмурясь и вытягиваясь лицом, говорил Санька, – сломили папаню, скурвился, ссучился, встал па колени!

– Со всеми бывает, – отозвался я, – неизвестно, что нам-то с тобой предстоит. Да ты, кажется, папаню-то не в особый авторитет возводишь?

– Нет, я ему этих, как их, пьедесталов не расставляю. Но ты пойми меня, политик, вот я эдакую гадость получаю – а ведь все же мой отец. Хорошо б еще написал повинную перед мужиками и вашим братом-интеллигентом, над которыми он со своей компанией издевался, а то ведь перед советской властью на колени падает. И все равно на волю не выпустят. А мне за него красней да красней, стыдно. Нет уж, ежели свой понт, свой гонор держать, то до конца. Чего ж они, гады, не перед Богом, а перед ментами каются!

Архипыч забегал глазами по штабелям, ища, не подслушивает ли кто, а потом доверительно спросил:

– А что же ты, Санька, в Бога, что ли, веруешь?

– А это, – отчеканил Санька, – тебя, мужичок, никак не касается. Я уже объяснял, что с десяти лет ни на какие вопросы не

отвечаю. Политик вот только душу растравил стишками своими. А ты – не по адресу на нас доносишь. Ни я, ни политик, ни Гешка вашего брата никогда не обирали. Я это, что вас грабить – грех, еще пацаном понял. Вот тебе и ответ. А ты и гражданин начальник, перекрестившись, на вахту с доносами бегаете.

Лейтенант, размышлявший о своей прекрасной даме, грозно поднялся.

– Ты вот что, начальник, – заметил Гешка, – нечего нам погоны демонстрировать, насмотрелись. Гони конвой еще за водкой, у нас с политиком праздник, не дострелили!..

* * *

Впервые за долгие месяцы я спал удивительно крепким сном. Мне не снилась запретная воля, подмосковные леса или залитая белесым светом эстрада. Мне снилась лагерная зона, штабеля, и что мы сидим все вместе – Архипыч, Арзамасский, я и лейтенант – и смотрим на мутную реку Туру, в которой полоскается закат, и вместе поем какую-то песню. Я проснулся с мучительной головной болью. Я никак не мог вспомнить, что за слова были в этой песне. С тех пор головная боль меня никогда не покидает…

* * *

Можно предъявлять блатным любые счета. Так или иначе, они могут оказаться справедливыми. Но в одном их упрекнуть нельзя – они никогда не обещали земного рая человечеству…

Другой наш лейтенант был не из охраны, то есть не заведовал отстрелом, он был из воспитателей… У блатных есть за душой один козырь – лихое определение человека, которому бы позавидовал любой классик. Лейтенанта сразу же окрестили «Лизой». Он имел странную и неприятную привычку облизывать поминутно губы. О своем прозвище он быстро узнал, но поделать с собой ничего не мог, особенно когда волновался. А волноваться ему приходилось часто. Когда его только назначили к нам на зону в качестве воспитателя одного из подразделений заключенных числом около двухсот, ко мне сразу же прибежали блатные.

– Слыхал, политик, нового начальника поставили, говорят, шибко грамотный, интеллигент, прямо спит на книжках!

– Добра не будет, – заметил я.

– Как не будет! – гудели блатные. – Ты бы с ним поговорил про философию, может, он тоже за правду борется!

– Вот что я вам скажу, ежели про философию. Хотите слушать или так, все вроде смехуечки? Ежели интеллигент намеревается в построении социалистического рая поучаствовать, то хуже некуда. Начальство наше – так себе, зверье зверьем, ну изобьют кого, измотелят вусмерть, кто под руку попадется, а потом сами сокрушаются, что ж ты, мол, так поддошел. Но если интеллигент, да еще с принципами, так и вовсе спасу нет. Ему непременно оправдание нужно для собственной, так сказать, души. Вот он это оправдание, не жалея сил, из наших шкур выбивать будет. И главное – совершенно бескорыстно. А это, когда бескорыстно пытают, хуже всего…

– Что же ты, политик, против культуры, что ли? – ехидно заметил Санька.

– Да нет, Арзамасский, я как раз за культуру. Только когда культурные люди начинают вслед за вождями чепуху молоть, то не просто тошно, от этого совсем захлебнуться можно… Ты вот про Иисуса Христа что-нибудь слышал?

– Ну слышал, – нехотя отозвался Санька, – что ты ко мне с расспросами пристаешь! Где его, Евангелие, достанешь, не выдают у нас Евангелие, что ж его – у бабок воровать, так ведь грех. Вот Егор, помнишь, тоже говорил – всем, что есть, с иностранцами менялся, но икон не продавал.

– Верно, Егор так всегда говорил, – подтвердил кто-то.

– А ты, политик, не жалеешь, что стихи ему тогда написал, новый срок припаять могут? – спросил Санька.

– Нет, не жалею, – помедлив, сказал я. – За стихи отчего не посидеть, лучше, чем за пьяную драку. Ну да я не об этом. Знаете, кто больше всех на распятии Христа настаивал – книжники и фарисеи. А за что? За то, что Он всем готов был простить грехи земные, а им никак не желал. Потому как прекрасно знал – они «ведают, что творят». Ну так вот, ежели хотите послушать, то я стихи вам про это почитаю, на интересующую вас тему?

– Читай, политик, – постановил Санька.

Шли, качая бедрами, барханы,
Как стога усталые, к закату,
И земля лежала бездыханно,
Жарким ветром скомкана и смята.
Ветер гнал песчинки по пустыне,
А слова метались по простору…
Он-то знал, что сказанное ныне
Обернется смертным приговором.
«Горе и позор вам, фарисеи!
Сколько можно лгать и лицемерить,

Нет греха на свете тяжелее,
Чем людей обманывать на вере!
Кто из вас, пустых фразеров, вправе
Толковать слова Священной Книги!
О своем печетесь только благе,
Пробиваясь в пастыри интригой.
Кто из вас судить кого-то может!
Сами ведь грешите вы, не каясь,
Ради власти лезете из кожи,
На людском доверье наживаясь!»
Он простил Пророку отступленье,
Он сказал: «В раю разбойник будет»,
И Иуде не грозил отмщеньем,
Знал, что тот и сам себя осудит.
Под крестом оплеван и осмеян,
Обводя людей тревожным взором,
Не простил Он только фарисеям,
А грозил им горем и позором.

История с Иисусом Христом произвела неожиданное впечатление. Блатные вообще относятся с пиететом ко всему зарифмованному. Всякий из них в душе игрок, и потому игра слов вызывает неизменное почтение. Но на сей раз дело было не в стихах. Чем-то другим поразил их мой набросок… Через пару дней около моих нар с неизменным куском сала, завязанным в платок, топтался Архипыч.

– Ох, батя, сколько я тебе твердил – не ем я сала, да и отбой скоро. Ну какому прокурору сегодня писать будем?

– А никакому, – торопился Архипыч, переходя на шепот, – стихи пиши.

– Какие стихи?

– Ну, где про антихристов.

– Про каких еще антихристов? – изумился я.

– Ты мне голову не морочь, политик, – обиделся Архипыч, – я не дурней других, про каких антихристов сочинил, про тех и пиши. А сала не хочешь, так я его на чай выменяю, а чай тебе принесу. Ты только напиши, чтоб никто не заметил.

– Так тебе что, про фарисеев, – наконец догадался я, – ты бы с этого и начал, да и зачем тебе про фарисеев?

– Зачем, зачем, – передразнил он, – мужики просили, вот зачем. Пристали, ты, говорит, знаком с политиком, он, говорят, даже водкой тебя потчевал, достань стихи.

– Значит, говоришь, для мужиков, – я уже выводил на сунутой

мне Архипычем бумаге в клеточку буквы.

– Для мужиков, – заверил проситель, – да и самому интересно. А ты не волнуйся, чуть что – спалим, чтобы этим начальникам в руки не попали. Пущай своего Маркса читают, – торжественно объявил он…

Лейтенант Лиза повел себя так, как я и предполагал, то есть самым что ни на есть паскудным образом. Покуда прочее начальство благополучно отлеживалось на вахте после пьяных ночей, Лиза носился по рабочей зоне и создавал энтузиазм. Основной его идеей было повсеместное учреждение всеобщего равенства, а также повышение трудовой выработки. Особенно бдительно он наблюдал за блатными. Блатные и без Лизы работали, но временами отлучались по своим делам и с лихвой оплачивали отгулы чаем и салом, так что мужики или бичи, если и доносили на них, то больше так, для порядку. Лиза заставил всех работать вровень.

– Вот сволочь, у меня восемь лет срока, и так еле на ногах держусь после ихних вонючих карцеров, а вон у того бугая – всего год, и этот пидер нас еще приравнивает! – возмущался Гешка.

Мужики отмалчивались. Подкармливать их перестали, а кому охота трепать языком на пустой желудок. Трудовой энтузиазм не замедлил принести свои плоды. За месяц мы перетаскали шпал несколько больше, чем обычно. Объявили благодарность, повысили нормы и снизили и без того чудовищно низкие расценки. Мужикам даже на ничтожные закупки в ларьке не стало хватать заработанных денежек. Блатные еще могли как-то прокрутиться, все же ухитрялись достать что-то с воли, но работягам стало совсем худо. Творческая инициатива лейтенанта Лизы на этом не остановилась. Лейтенант был из числа просветителей. Он ввел стенную газету и долго не мог понять, почему я не желаю помогать ему в этой затее. В газете предполагалось бичевать лиц, не вставших на путь исправления и пытавшихся уклониться от труда на благо родины и партии.

– Вы же поэт, журналист, – убеждал меня лейтенант, – ну у вас есть разногласия с линией партии – это пройдет. Вот даже в вашем деле есть о вас хорошие отзывы известных писателей. Вы должны помочь мне в перевоспитании этих уголовников.

– Гражданин лейтенант, – возражал я корректно, – вы бы лучше занялись прямой вашей обязанностью. Во-первых, прежде чем людей воспитывать, их, на мой взгляд, следует сначала накормить. Во-вторых, получается, воля ваша, какая-то чепуха. Вы вот, например, ознакомились с делом Васи Харламова, который хлебает лагерную баланду за убийство поросенка, или с делом Архипыча, который на благо общей у нас с вами родины пытался

трактор починить, в обход правил, может быть, но ведь трактор – не его собственность, а государственная. И теперь вы призываете, чтобы заключенный из «литераторов» обеспечивал вам перевоспитание лиц, как у вас говорится, «выбившихся из трудовой колеи».

Лейтенант кривил и облизывал губы.

– Да, я ознакомился с делами Харламова и этого, как Вы его называете, Архипыча. Но они не встали на путь исправления, не вступили в секцию внутреннего порядка. А у нас, сами знаете, освобождение – дело серьезное, нужна подпись всей лагерной администрации и образцовая характеристика.

Я вспомнил роман Франца Кафки «Процесс», и он показался мне чем-то вроде рождественской сладкой истории…

Лейтенант доконал нас не только подъемом трудового энтузиазма. Лейтенант был широк во взглядах, но беспомощен в практике их применения. Он повелел всем посещать политические занятия. Ходили и до его приказа, но только стукачи и те из мужиков, кто старался выслужиться, даже Архипыч не ходил. Лиза под страхом карцера заставил явиться всех. Блатные пошли даже с некоторым интересом, ожидая моего столкновения с лейтенантом, хотя я на сей раз был менее всего расположен к словесной дуэли.

Лиза с чувством декламировал советскую конституцию. Когда дело дошло до заверений, что «каждый человек имеет право на свободу слова» и т. д., блатные только усмехнулись, но дальше пошло: «в целях построения социализма гражданам СССР гарантируется право на собрания, митинги, демонстрации». Тут раздался дружный хохот. Кто-то из блатных отметил:

– Ну ты, начальник, даешь! Вон политика уже на три года загарантировали!

Лейтенант покрылся бурыми пятнами.

– Делоне, останетесь мыть полы!

Я поднялся.

– Во-первых, гражданин начальник, я не смеялся, мне от Вашей конституции не до шуток. Во-вторых, полы мыть – это уж увольте. Ищите из числа тех, кто исправно доносит.

– В карцер пойдете! В карцер! – надрывался лейтенант.

– Успокойтесь, гражданин начальник, конечно, пойду. Собственно, ходить-то здесь больше некуда…

Мне дали полмесяца карцера, но «освободили» через три дня. Лейтенант оказался не только «просветителем», но и «гуманистом». Наутро лейтенант, как и положено, объявился в рабочей зоне. Я решил помочь ему в трудной ситуации.

– Гражданин начальник, можно поговорить, так сказать,

конфиденциально. Видите ли, в чем дело: мое присутствие во время ваших разъяснений по политграмоте вызывает никому не нужные дискуссии. Ко мне, знаете, обращаются с вопросами. Так что прошу вас справляться без меня с вашей конституцией. А то всем излишние хлопоты выпадают. Кому-то доносить, а вам меня в карцер сажать…

Лейтенант судорожно облизнулся.

– Вы правы, Делоне. Вы только делайте вид, что ходите на занятия, а сами – ну, в другой барак уходите, что ли… Да я, знаете, и сам люблю поэзию. Вот посмотрите, – лейтенант вытащил из кармана истрепанную книжку, в которую были переписаны стихи известных советских поэтов Евтушенко и Вознесенского, «смелые» стихи эпохи развенчания Сталина.

– Знаком, – сказал я.

– Со стихами или лично? – полюбопытствовал лейтенант.

– И со стихами, и лично. Только таких стихов они сейчас не пишут, отбунтовались, хвост прижали, их теперь хоть вместо Вас воспитателями сюда назначай.

Лейтенант пропустил колкость мимо ушей.

– А вы Бёлля читали?

– Читал и тоже лично знаком.

Лейтенант выпучил глаза. Он знал, что я принципиально ничего не выдумываю. Но Бёлль его сразил. Если бы я сказал, что знаком с Иосифом Флавием, на него это произвело бы куда меньшее впечатление. Я ликовал. Начальник попал точно в тест, который я перед ним раскинул, как раскидывают блатные колоду карт, зная, за какую карту схватится неумелый игрок.

С момента, когда между нашей страной и миром чуть-чуть приподнялся знаменитый красный занавес, стали у нас хвататься за что угодно, дабы доказать, что, дескать, и мы культурные, не хуже прочих. Появились переводы современной западной литературы. Многие за любые деньги готовы были купить эти дефицитные книги, чтобы только взглянуть, чем они там дышат на этом недоступном Западе. Но для большинства существование в доме западных незапрещенных романов было своеобразной вывеской или шиком. Почему-то особенно повезло Хемингуэю. Чуть не в каждой «интеллигентной» квартире был вывешен его портрет. И уж как так получилось, я даже не знаю. Но наличие портрета Хемингуэя указывало на то, что хозяин квартиры из породы людей, что держат себя интеллектуалами, горестно опускают глаза при упоминании о сталинских «несправедливостях», но тут же объясняют любознательным иностранцам, что теперь у нас иные времена… Шли шестидесятые годы. Времена и впрямь были несколько иные, но

только для кого как. Разгромили свободные чтения стихов на площади Маяковского, уже сидел Кузнецов и другие, хватали за книги Джиласа, Кёстлера, Оруэлла, но это интеллектуалов как бы не касалось. А портрет Хемингуэя красовался непременно.

В те годы одного нашего друга, прекрасного поэта Леню Губанова[1] то и дело забирали в психушку за неугодные стихи. Каждый раз мы с Буковским начинали бегать по нашим знаменитым интеллигентам и умоляли помочь… Интеллигенты отнекивались, за редким исключением. Леня все же выбирался на время из психушек, ходил по компаниям, читал стихи:

Спрячу голову в два крыла,
Лебединую песнь прокашляю.
Ты, поэзия, довела,
На руках донесла до Кащенко.

Леня читал стихи, судорожно закрывая пальцами воспаленные глаза, и по временам злобно косился на неизменного Хемингуэя. Иногда он скандалил, и ежели я корил его за это, он всякий раз оправдывался своеобразно.

– Да Вы что, поручик (он называл меня поручиком в силу дурашливой привычки, укоренившейся между нами, – манеры разговаривать, как бы пародируя стиль XIX столетия), – да Вы что, поручик, не извольте беспокоиться. Что у них за душой, кроме этого, как они его называют, Хэмми! Все это потуги на респектабельное мужество. Вы бы спросили у них о Достоевском!.. В общем, у этой публики все хорошо, только вот корриду смотреть не пущают. Взять бы их на недельку на экскурсию в нашу родную Кащенскую психушку, там пикадоры отменные!

Я вспомнил о Лене и Хемингуэе и усмехнулся. Где он сейчас, бедолага? Потчуют его водкой поклонники «охотника на тигров» в какой-нибудь теплой московской квартире, или потчуют его в очередной психушке нейролептиками охотники за душами?

Лейтенант, по обыкновению, облизывался. Что сказать, если учесть пейзаж в виде штабелей бревен, мою бритую голову, рваную телогрейку, вспухшие после карцера вены – все это никак не вязалось с моими словами о знакомстве с западной знаменитостью… Никак я с Бёллем в групповой портрет не попадал – ни с дамой, ни без дамы.

– Как так лично знакомы? – осведомился лейтенант.

– Да так, – отвечаю, – пришлось встретиться, как говорится, в узком кругу и обсудить, что происходит на свете.

– Ну и что?

– Да как вам сказать, ничего особенного не постановили, разошлись очень дружелюбно, с большим сочувствием друг к другу и при полном взаимном непонимании…

Я вспомнил одну из «интеллигентных» квартир: Хемингуэй на стене совместно с какой-то абстрактной картиной, Бёлль в кресле и водка на столе. Я все пытался выяснить, что может означать сообщение в советской прессе о преследовании его, Бёлля. Бёлль долго рассказывал об увлечении молодежи маоизмом и о каких-то боевых группах, которые борются против буржуазного разложения.

«Но ведь вы – немец, вы видели ужас фашизма, люди, знающие, что такое война, да и все в России читают ваши книги взахлеб, неужели и вы – за еще более чудовищное, за маоизм?! А если бы ваши юные друзья сопротивлялись загниванию цивилизации старым методом, то есть нацизмом?»

Бёлль возражал, что это не одно и то же. Ну и, конечно, поносил американцев за войну. Я заметил, что, может быть, с его точки зрения, – это иное, но следовало бы посетить китайские колонии перевоспитания и осведомиться, какого на сей счет мнения придерживаются тамошние обитатели…

Правда, излагать подробности нашей беседы лейтенанту Лизе я не стал. С меня было достаточно моего нынешнего пребывания в отечественном исправительно-трудовом учреждении, которое Лиза обслуживал в качестве наставника.

– Да, вот с Бёллем знакомы были. Что же вас сюда занесло? Мне бы с ним поговорить…

– Да вам-то зачем? – съехидничал я.

– А у меня, знаете, любимая книга – «Глазами клоуна». Помните, как от артиста жена уходит? Вот и у меня жена была, а здесь вот с вами, заключенными, – делиться приходится. А с кем тут поговоришь? Товарищей моих, начальников ваших, вы сами знаете, один тупее другого, какой им Бёлль! Я им самый примитивный анекдот рассказал, да вы его знаете: «Можно ли на ежа голым задом сесть? Можно, если либо ежа побрить, либо если партия прикажет». Так посмеяться посмеялись, а потом поставили на вид, майор Лашин, замполит, распекал часа три, и в очереди на квартиру временно отказали.

– Постойте, постойте, гражданин начальник, – удивился я, – про неприятности из-за ежа – это я понимаю. Самого сюда загнали за отказ одобрить решение партии. Но вы-то здесь добровольно в распорядителях оказались!

– Да не то что добровольно, а так, из-за бабы… «Что же это, – подумал я, – уже второй начальник, так сказать, на сексуальной почве, какая-то чепуха, похлеще фрейдовской! Что же они тут все

в каратели из-за любви попадают?!»

– Извините, – говорю, – ничего не понимаю, гражданин начальник, и при чем здесь Бёлль?

– Не могу я вам этого объяснить, Делоне, вдруг кому-нибудь скажете, ведь засмеют… Впрочем, дайте честное слово.

– Ну даю честное слово офицера.

– А вы разве офицер? – удивился лейтенант.

– Да нет, просто друзья поручиком дразнили за попытку быть верным идеалам XIX века… Но ведь, согласитесь, не могу же я вам дать честное слово коммуниста, вот уж к коммунистам-то я, слава Богу, и вовсе никакого отношения не имею.

– Ну да ладно, – скривился лейтенант, – знаю я это честное коммунистическое. Да и кому, кроме вас, расскажешь… Жена у меня, знаете, красавица, я не преувеличиваю, редко такие встречаются. Я с ней на юге познакомился, когда в военном училище курсантом числился. Выделялся я, собственно, только по части литературы, ну и по философии чуть-чуть нахватался. Тут стали формировать какую-то секретную часть. Мне сразу же предложили должность не по технической линии, а чтобы политграмоту проводил и художественную самодеятельность, ну и оклад двойной, северный. Я к своей красавице: «Хочешь быть женой начальника северной секретной части?» Она и согласилась. Я так и обомлел. У нас с ней, в общем, ничего особенного и не было, так, выслушивала, как я ей стихи зачитываю, и только посмеивалась. А тут вдруг согласилась. Правда, поговаривали у нас в военном городке, что кто-то из ее бывших возлюбленных вскорости должен вернуться из лагерей и обещал отомстить ей за измену. Только толком я ничего не знал. Наташа об этом не распространялась. И за что ее любовник в лагеря попал – среди курсантов никто не знал, а местные на все вопросы отвечали уклончиво, говорили про какую-то драку и про то, что Наташа своего парня под срок подвела. Но ничего от них толком добиться нельзя было. В армии назначают быстро. Утвердила меня какая-то комиссия, хотя соответствующего образования у меня и не было, но зато из простых, не еврей, партийный, подающий надежды. И отправили на Север в те самые войска, о которых у нас и шепотом не говорят. Поселок был приличный, снабжение для офицеров особое, а сама часть километрах в сорока в лесу. Работа непыльная. Наташа детей не хотела, но я все настаивал. Через год сын родился. А потом, только вы никому не говорите, – в общем, рухнуло все. – Лейтенант пытался удержать себя от дальнейшего рассказа, но уже не мог. – Я был в распоряжении части. Что у них там с этими проклятыми ракетами случилось, понятия не имею, ни нам не докладывали, ни в газетах не писали. Так или иначе,

получил я облучение. Да еще какое! Долго валялся по госпиталям, потом стали в Крым возить в санатории. Наташа в госпитали нечасто приходила, но в Крым всегда ездила. Там и сошлась с каким-то проходимцем, сбежала. Что поделаешь, девка она страстная, нет, вы не подумайте, я не совсем импотентом стал, но потерял вот былую силу. Говорят, со временем все в норму войдет. А что со временем, потом поздно будет. Люблю я ее очень. Я совсем обезумел, какие-то оставшиеся после ее исчезновения тряпки все за собой возил. Поехал к матери в деревню, она добрая у меня, но так, малограмотная, да и тут никакая мать не поможет. Отец-то в войну погиб, а я все в люди выбивался, вот и выбился… Пособие мне назначили, временная инвалидность. Пил много, даже все книги пропил. Не пропил только ее тряпки и вот эту – «Глазами клоуна» Бёлля, ну про то, как от него жена уходит, да вы же читали, что я объяс няю… Ну а потом разыскал ее новый адрес, долго разыскивал, просил, чтоб хоть сына ненадолго прислала повидаться. А она пишет: «Ты – нищий, как я тебе ребенка доверю!»… Пошел по армейским друзьям. Они куда-то звонили. Для армии я уж человек негодный, да и специальности никакой. Предложили вот к вам сюда – тоже за вредность надбавка, да еще пособие приходит. Вот и квартиру обещали, а пока так, комнату у бабки одной администрация нанимает. Мне бы только квартиру получить, может, она ко мне сына отпустит. А тут я им еще про ежа не к месту рассказал, черт меня с этим ежом попутал…

– Да, с ежом неувязка вышла, – сказал я, – а вот что до Бёлля, так его герой прирожденным клоуном был, актером. Помните, он даже, когда вышел на паперть и запел что-то, подумал: «Настоящего артиста всегда узнают». А из вас, помимо вашей воли, клоуна сделали – но не актера, а куклу на веревочках. И вы опять им служить собираетесь.

– Так ведь не на завод же мне идти, – отозвался лейтенант, – и куда мне с моим здоровьем на завод. Да и какая мне разница, мне все равно – я всех одинаково ненавижу. Понимаете, зла особого не желаю, но ненавижу. А вы, Делоне, все же изловчились – я вам про любовь, а вы опять на политику свернули. – Лейтенант отвернулся.

– Да нет, какая политика, гражданин начальник, вы не обижайтесь, это я так – в сторону Бёлля.

Я даже сразу не сообразил, почему не тронула меня особенно исповедь лейтенанта Лизы, но осталось у меня на душе после этого разговора одно только смутное беспокойство… О русских всегда говорят – «душа нараспашку», отмечая, что душа, тем не менее, оказывается загадочной. Еще в XIX веке кто-то из наших

классиков отметил, что ежели вы встретите русского интеллигента в поезде, то он непременно примется рассказывать вам всю свою жизнь от начала до конца, пока кому-нибудь из собеседников не придется выходить на станции. Привычка эта вполне укоренилась во всех слоях населения. Причин к тому достаточно. Больше недели идет поезд, например, от Владивостока до Москвы. Что же прикажете делать – запастись водкой и слушать, или самому рассказывать. Да и человек, едущий в поезде, как бы на время – просто человек, а не находящийся на своем посту строитель коммунизма. Доносить на вас нет ему особого резона – он не на службе, так что выгоды никакой. Вот и говорят у нас люди по душам только в поездах да на лагерных этапах. У каждого своя транзитная остановка… Вся Россия знает песню Владимира Высоцкого: «Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как одиноко жить ему, бедняжечке! Сойдет на станции и не оглянется. Вагончик тронется, а он останется…» А помимо поездов да этапов исповедаться негде – большинство церквей наших поразрушено, а сходишь к священнику – заметят, возьмут на учет, по работе пойдут неприятности, да и при нашей системе не на всякого священника положиться можно, не говоря уж о друзьях детства и подругах жизни. То же и с заключенными – пока идешь этапом, все друг с другом делятся, но в лагерях не принято рассказывать подробности автобиографии. Ибо даже если не подслушают конфиденциальную беседу, не донесут сразу оперуполномоченному, которого и называют совершенно точно кумом, то уж кому поведал ты свои тайны, может ими воспользоваться в любой момент, и не оттого, что подлец вовсе. Если годами лежишь на нарах в секции на 80 человек, то почти наверняка из-за чего-нибудь да поссоришься. Да и в вольной-то жизни люди склонны ненавидеть тех, кто хранит их тайны. Что ж говорить о лагере и о том, мягко говоря, неравном положении, в котором находились мы с лейтенантом. Он-то мог отыграться на мне за собственную слабость вполне безнаказанно, тем более что столкновений у нас с ним по разным поводам предвиделось множество… Лейтенант, конечно, тоже сожалел о том, что разоткровенничался, но повел себя несколько странно, вопреки моим наихудшим предположениям. Несколько дней он вообще, казалось, меня не замечал, а потом выбрал по отношению ко мне эдакий саркастический тон, впрочем, особенно не досаждал. Но странным было другое: Лиза заметно умерил свой пыл, перестал носиться вдоль вагонов, ловить блатных на махинациях по добыче из-под земли и заварке незаконного чая. Только от ретивости в политзанятиях Лиза не отказался. Правда, негласное разрешение не посещать, как заочную индульгенцию, выдал

большесрочникам, и в эту категорию попали почти все блатные. Так что жизнь потекла более или менее по-старому, если не считать нанесенного Лизой вреда в виде повышенных норм и сниженных расценок. Но этого уж никто не мог исправить, даже сам Лиза. Памятного нашего разговора с лейтенантом никто не слышал, но все видели, как мы медленно прохаживались вдалеке у заброшенных гниющих штабелей. У лейтенанта не было своего кабинета на рабочей зоне. Блатные с интересом ожидали развязки – либо я начну сотрудничать с лейтенантом, либо отправлюсь назад в карцер, третьего не дано. Но ни того, ни другого не случилось, а началась временная либерализация. Блатные долго крепились и, следуя лагерному этикету, с расспросами не приставали, но потом пригласили в укромный угол в штабелях на ритуальный чай с глотком контрабандного спирта. Санька Арзамасский хитро подмигнул мне:

– Видишь ли в чем дело, политик, весь цвет зоны в недоумении – что это с нашим ретивым интеллигентом случилось, с Лизой с этим, что это он так сник. Волнуются, не заболел ли. Чем это ты его так оглоушил? Ты уж разъясни, пожалуйста. А то мы и вены себе режем, и замочить их, ментов поганых, грозимся, когда прижимать начинают, а им, гадам, – хоть бы хны. А ты что-то почирикал, почирикал – и порядок. Как так?

– А я его Бёллем, Санька, – глотнув чайку, ответил я односложно.

– Каким таким Бёллем, что еще за Бёлль? – всполошились как-то все сразу. – Вот ты нам про Монтана разъяснил, Монтана пару раз по радио слышали, а Бёлль нам никогда не попадался, да и при чем здесь Бёлль и лейтенант Лиза?

– А при том, что Бёлль написал роман «Глазами клоуна», – ответил я.

– Какого клоуна, политик, что ты плетешь?! Вон дай бичу лишнюю пайку хлеба – он любого клоуна тебе изобразит, почище твоего Бёлля.

– Кончай базар! – сказал Санька. – Ясно вам сказано – политик литературой лейтенанта без ножа зарезал. Вот тот ходит теперь и размышляет, как же так получилось. А про наш этот разговор никому ни слова. И лейтенанта не подзуживать, а то опять начнет вводить уравниловку и энтузиазм.

Глотнули еще чаю и разошлись.

* * *

Несколько дней прошли относительно спокойно. Потом началась новая эпопея. Произошло все из-за майора Лашина, того самого майора, который лишил лейтенанта Лизу очереди на квартиру за ежа. Замполит Лашин досаждал не только Лизе. Он досаждал всем: и лагерному начальству, и заключенным. Майор был верным ленинцем. Я наивно полагал, что эта порода людей у нас как-то исчезла. Ведь даже «великий» Сталин в своих очередных чистках старался этих оголтелых апостолов всеобщего равенства и братства как-нибудь да извести. Их расстреливали, а они кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!» Товарищ посмеивался в усы. И готовил проекты новых массовых уничтожений – то интеллигенции, то священников, то крестьян, то евреев… Но майор Лашин выжил, прошел всю войну и очутился у нас замполитом. Он знал наизусть всего Ленина и Маркса, знал, конечно, и Сталина, но об этом помалкивал. Собственно, в обязанности майора входило только наблюдение за уровнем политграмоты, но майора это не устраивало. Он доносил на всех – на начальство, что воруют (их иногда куда-то вызывали и выговаривали), на заключенных, что пьют чай или вообще ведут себя в лагерной зоне антиобщественно (нас сажали в карцер надолго и всерьез). Блатные сразу дали кличку майору, даже не одну, а две. Учитывая широту его души, майора звали либо Таксой, либо Папой Лашиным. Таксой его звали за злобность, на редкость кривые ноги и чуть ли не по земле волочащийся зад. А Папой Лашиным величали после его исторической речи по местному лагерному радио, когда он, излагая суть идеалов коммунизма, впал в такой экстаз, что обратился к заключенным: «Дети мои!»

Блатные осведомились у меня:

– Как ты думаешь, политик, он что – совсем чокнулся?

– Да нет, – сказал я, – он просто в ораторском пылу перепутал себя с Римским Папой…

Смеялись до слез, но, конечно, кто-то донес. Однажды майор, прогуливаясь по лагерной зоне, встретил меня, курившего в неположенном месте, и отправил в карцер. А затем соблаговолил меня навестить и предложил папиросу (в карцере-то курить воспрещается). Я равнодушно отрезал:

– Ваших не курю.

Майор взвился:

– Брезгуете! А меня попом обозвали! Я не поп, а коммунист!

– Я что-то не понял, гражданин начальник, – отозвался я, – мне просто хотелось сделать Вам комплимент.

– Ладно, – сказал Лашин, – Вы – враг народа, и я придумаю, как с Вами расправиться, а то срок у Вас маленький, не

соответствует содеянному и Вашим *мыслям.*

– Безусловно, – ответил я, – только касательно того, кто – враг народа, а кто его друг, не мешает спросить у самого народа, а то вечно какая-то околесица получается.

Майор был человеком принципиальным, гуманизм не был ему свойствен – из карцера меня раньше времени не освободили… Зато майор любил цветы, искренне любил. В центре зоны красовалась клумба. Ее выращивали несколько заключенных из окружения Папы Лашина. С тех пор я гляжу на цветы с равнодушием. Злость к этим цветам была у всех на нашей двухтысячной зоне. Из цветов ведь не сваришь похлебки. Цветы раздражали своим издевательским присутствием там, где за ложку чая отдавали жизнь. Именно майор Лашин ввел у нас на зоне принудительную утреннюю гимнастику и непременное хождение в столовую строем.

От хождения строем блатные разом отказались, и я к ним, разумеется, примкнул. Вечером, когда возвращались с работ, активисты немного унимались, выбившись из сил по служебным делам, – доносы и подслушивание бесед тоже утомительное занятие. Вечером мы ходили на «ужин» уже не строем, а как придется. Но Папа Лашин решил навести порядок. Тогда от вечернего липкого черпака каши мы тоже отказались, и за лишний черпак каши, которым мы гребовали, мужики таскали нам наш законный хлеб – лагерную пайку. Но майор был хитер и упорен. Он расставил активистов около столовой, дабы никто из мужиков не мог пронести нам положенный кусок хлеба. Днем на работе хлеб нам выдавали без всякой строевой подготовки вместе с баландой – супом, который неизвестно из чего и как сварен. Но лишение хлеба утром и вечером было для нас страшным новшеством, войной на измор.

– Слышь, политик, блатные парламент собирают, ну толковище, или сходка по-нашему. Пойдем, поучаствуешь, – объявил мне Санька в один прекрасный вечер.

– Мне-то вроде не по чину, – изумился я, – у вас же там собрание из блатных, тех, кто в законе.

– Пойдем, пойдем, политик, – уговаривал Санька.

Мое появление в «парламенте», и правда, вызвало косые взгляды. Первым встрепенулся Костя Конопатый – главшпан тех, кого Егор окрестил шакальем.

– А политик что тут делает? – начал было он. – По закону он фраер и решать ничего не может.

– Кто фраер, а кто не фраер – еще время покажет, – оборвал Леха Соловей, – он от хождения строем отказался, да и посылок давно лишен.

Конопатый смолк.

– Что делать будем, политик? – обратился ко мне Соловей. – Так мы долго не протянем.

– Протянем, – сказал я. – Надо ввести премиальную систему: тот из мужиков, кто приносит нам хлеб, помимо нашей каши, ежедневно получает две столовые ложки чая. За эту мзду они не только пайку хлеба, но и черта в ступе мимо активистов пронесут.

– Чай мужикам отдавать! – заорал Конопатый. – Да где это видано! Не положен им чай!

– Не хочешь чаем делиться, – усмехнулся я, – маршируй!

– А ты ему, политик, песню сочини строевую, залихватскую, – поддержал меня Санька.

– И без меня давно насочиняли, и все ленинские премии между собой поделили. Ты что, по радио не слышал: «Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути. В коммунистической бригаде с нами Ленин впереди!» или что-нибудь в этом роде.

Решили выдавать премиальные ловким мужикам. Я знал, что издевка моя даром не пройдет. Но уж очень тошно было видеть, как Конопатый через подставных лиц, конечно, обирает мужиков.

– Ох, Санька, на хрена ты политика в это дело втравил, – сказал Соловей Арзамасскому после прений, – он же своим выступлением как бы нож в стенку кинул. Мало, что ли, у него хлопот с ментовней было! Теперь еще эти блатные донемогу будут повод искать, как посчитаться.

– Как-нибудь отмажемся! Не от таких отмахивались, – успокаивал Санька.

Чай бешено рос в цене. По воскресным дням, когда на работу не вывозили, доходило до того, что пара ложек чая стоила десять рублей. Активисты потрошили мужиков, но те все же исхитрялись проносить хлеб. Я выдавал чай, даже когда пронести хлеб им не удавалось, так сказать, за попытку. Майор Лашин седел прямо на глазах. Мы линяли лицом и едва держались на ногах… Мое выступление в «парламенте» стало известно всей зоне, хотя я о нем и не рассказывал. Первым подошел Коля Никонов:

– Слушай, парень! Если что приключится, можешь надеяться на то, что моя душа и финка тебя поддержат. Я же за отказ от этих маршей здесь очутился. Что же мне – опять в ногу шагать. Ты, можно сказать, за меня с козырей зашел. Постановил эту мразь блатную на линию огня вывести, а то ведь они только на словах принцип держат. А я сюда без всякого толку залетел – забрали в нашу доблестную армию, ну и стали измываться кто как может. За любую провинность клозеты чистить посылали, только я отказывался и все больше на гауптвахте отсиживался, то

же, примерно, что и здешний карцер. Ну а в перерывах перекурить малость. Я не барыга, не торгаш, но травку для себя и для других всегда раздобыть умел. Анаша или планчик – лучшее дело после маяты, после кандеев, ну на сем и подловили, загнали в штрафной батальон. А там уж раз по десять в день заставляли за минуту то раздеться, то одеться по всей форме. По ночам гоняли акробатические этюды на снегу выписывать. Особенно капитанишка один выдрючивался. Я так прикинул, что лучше лагерный срок, чем еще год по ночам гимны завывать и самого себя на снежном паркете калечить. Ушел в самоволку. Долго поджидал капитана у магазина, знал, что непременно придет нажираться на кровные наши денежки, которые ему ребята за пять минут отдыха отдавали. Ну подождал, пока натрескается, курнул травки, сплюнул чинарик на порог и пару раз развернул его головой к стенке. Так же, как он наш строй окриками от стены до стены гонял. Могли бы, конечно, и к высшей мере приговорить, плюнуть, дунуть и пустить в распыл, смести со свету. Но капитан был пьян, а вольные из магазина крепко стояли на том, что он первым на меня бросился. Капитан-то мой и над вольными имел обычай потешаться. Да из-за баб на него в обиде были местные, он баб не то что пользовал особенно – кишка тонка, а так, больше срамил. А я с местными иногда травкой делился, так что народ за меня рогами уперся – не виновен, дескать, сам капитан куражился и оружием размахивал. Отделался пятью годами…

– Постой, постой, – оборвал я его, – а в армии-то тебе сколько оставалось лямку тянуть? Ты, вроде, год, говорил, оставалось?

– Лучше здесь пять лет мыкаться, чем чехов танками давить или над самим собой под дудочку куражиться, – заметил Коля. – А если травка понадобится в качестве стимула к стихосложению и для спасения от голодухи, ты только дай знать – для тебя всегда найдется.

Травка на лагерной зоне – легкая эйфория, но я лишь пару раз попросил на закрутку. Я знал, чем это может кончиться. И так, когда выпадали дни без традиционного чифира, казалось, что уже не сможешь больше пошевелиться, в висках звенело и гудело, а тут еще травка… Я отказался от Колиного предложения. Он прекрасно понял мой страх:

– Ты прав, землячок, за мной и так ворох бумаг по всем этапам провезли, наркоман, да и только – одно слово, ну да эту бумагу на раскрутку только можно пускать. Что ж им каждым из нас с утра до ночи заниматься. Посадят, наверное, снова, как на волю выйду, ну а до воли далеко. С тобой – другое дело. Я знаю, что не боишься с нар не встать, если вечером лишка двинул, а

утром ничего не достать, чтоб душа к родным баракам и окрестным полям вернулась, – это тебя не беспокоит. Я знаю, чего ты боишься: пошлешь кого-нибудь достать травки, чтобы вытащить сердце, как бадью из липкого засохшего колодца, а на тебя донесут тут же. И разом новый срок припаяют и наркоманом объявят повсеместно.

Нам-то легче, особенного к нам интереса начальство не проявляет, так, поиздеваются вволю и катись к едрени матери, а у тебя – другое дело. Ты даже на травке запретной отдохнуть не можешь – заштампуют. Ты же, не как я, в пивнушке чинам нашим в морду плюнул, а на самой Красной площади. Не дадут они тебе передохнуть и закурить…

– Много здесь на зоне тех, кто прямо из армии к нам угодил, как ты, Коля?

– Как я, не так уж много. Я-то все рассчитал. Погибать – так под блатную музыку или цыганские романсы лучше, чем под «Партия – наш рулевой». Да мне и не то чтобы отомстить хотелось. Мстят-то тем, кого равными себе считают. А это разве равные! С такими что же делать – не яд же им в бокал подливать, не стреляться же с ними на дуэли. Пару раз шлепнуть по морде – и весь разговор. Я же тебе говорил – барыгой не был, травку добывал не только для себя, но и для друзей. Это уж мое дело, как добывал, но помимо травки и книги доставал запрещенные, хоть и на юге жил, в Ростове, а не в Москве. Этого у меня до сих пор не отняли. Все хранится, где надо. Будь спокоен, такое есть, что, если придется на воле свидеться, может, попросишь почитать. А вот это видел? – Он вытащил из кармана аккуратную глянцевую открытку. – Кто такая, не знаешь?

– Трудно сказать, – усмехнулся я, – мне некогда на свободе было следить за всеми успехами западной кинопродукции. Актриса какая-то.

– Вот, политик, – без всякого торжества в голосе сказал Коля, – я даже тебя выкупил, даже ты не понял, что к чему. Я и в армии, и здесь гоню одно и то же, когда ее очередной раз у меня на обыске отбирают – мол, фотография западной артистки, выпущенная по спецзаказу Мосфильма, требую вернуть. Сотни жалоб исписал, но фотографию все же каждый раз возвращали… Никакая это не актриса, а пацанка моя, девчонка, которая со мной еще до армии жила. Меня за нее в армию и закатали, хотя я на время на воензавод пристроился, чтобы от шагистики освободили. Броню дали, очень уважали за умение одну клемму к другой припаять.

– Пишет? – спросил я. Фотография была и вправду изумительной – глаза в поволоке слез, тонкая рука, казалось, и на

снимке вздрагивает…

– Пишет, даже весьма залихватски, форменная актриса. Впрочем, тут я не прав, актрисы, кажется, не очень в писанине разбираются, больше в манерах. Ну да не в этом дело, четвертый год пишет, умоляет, чтобы на помилование просил. Папашка ее – большой чин в ростовской партийной кодле. Он-то как раз меня и отправил побрить и на доблестные марши велел загнать, зная, что дочка с таким подонком, как я, связалась. И не просто связалась, а вроде как любовь. Этого уж он никак перенести не мог. А дочурка его, как была в слезах, так по сей день в слезах и осталась. Донимает папашку – освобождай, мол, «милого друга», а то худо будет. Короче говоря, обычная истерика. Но у нас ведь не времена Ги де Мопассана. Девочка моя клянется верой и правдой, – вернешься, мол, на волю, папаня тебя пристроит. А куда он пристроить меня может, кроме как в ту же контору, где с утра до ночи надо изречения Маркса вслух произносить. А я лучше от нехватки курева или иного поддержания души на соответствующей высоте подохну, чем от этих мутных речей. Головой-то я могу в омут, только в чистый… Ну а что до любви – все пустой разговор. Вот и тебя не прошу балладу написать, она и так вроде предана, как та Елена Парису. Только много войны, а толку мало.

Я неловко засмеялся.

– Видишь, поэт, я тебя без всякой фени, без всяких заковырок в тупик ставлю. Пишет мне девочка эта, пишет красиво, даже, пожалуй, слишком красиво… Боюсь, что под диктовку. Все у нас, так сказать, в двойном зеркальном отражении. Блатные наши тоже под твою диктовку пишут. Дело-то, конечно, разное – ты просто девочек уговариваешь отдаться королям блатной жизни душой и телом, это еще так себе, правда, тоже особенно распыляться не советую. Но тут ребята не первый год на нарах мыкаются, а закон сам знаешь – тот, кто дрочит в бараке, уже не человек, за дерьмо считают, а дрочить-то, собственно, больше негде. Что ж им делать, как не писать письма, или тех, кто провинился или в карты проиграл, заставлять им задницу подставлять. Только лучше уж мне все это видеть, чем в ножки кланяться тем, кто посадил за решетку. К папашке моей подруги я никогда ни с какой просьбой не пойду. Да и девочка моя, хоть и пишет уже четыре года про любовь, но я этому мало верю. Не осуждаю, но не верю. Она тоже травки попробовала, да и дружки у меня лихие, тут уж верность разрушить – вроде как бокал шампанского торжественно об стенку разбить. Так что я не тороплюсь на волю. Что положено на жизнь – то положено. Одно хорошо – актриса моя все просьбы выполняет и шлет на вольные

адреса травку, а травку с этих адресов забирают и мне приносят. Так что если туго придется, сразу сообщи. Ползоны в долгу у меня, посмотрим, что дальше будет.

– Может, и правда тебя девчонка эта любит? – спросил я, как-то тупо понурившись.

– Может, и правда, только это наше с ней дело. Тут ты, поэт, ничего исправить или наладить не сможешь, да и не к чему налаживать. Я только о травке думаю, о маках, не о тех, что украшают салоны, а о тех, что дают забыться. Но помни, когда надо, – можешь на меня надеяться…

* * *

Майор Лашин седел головой, дурел мозгами, но с генеральной линии не отступал. Был дан приказ насильственно водить нас строем за хлебом и кашей, но активисты, хотя и присягнули новому постановлению, все же толком ничего не предприняли. Слишком свежо было в памяти у всех, что случилось с активистом Мироновым, как его разметал по тюменским дорогам Егор. Но надо было активистам хоть как-то отыграться. Бросились на ребят, которые приходили из колоний для малолеток. Били в штабе до полусмерти, заставляли мыть полы на лагерной вахте. После такого мытья ни один из блатных не мог подать руку пострадавшему, не мог считать его не то что равным, но даже приближенным. Активисты пытались скинуть молодняк в омут. Те, кто пришел из колоний для несовершеннолетних, знали, что такое кулаки. И на тамошних «детских» зонах их избивали хуже, чем в старые времена матерых убийц плетьми. Но на нашей зоне активисты были не их сверстниками, а людьми бывалыми, и били так, что малолетки плевались не просто кровью, но и щепками от пола, который мыть они отказывались…

Шел обычный лагерный развод, по пятеркам выгоняли на работу. Майор Лашин, как всегда, следил, чтоб и здесь был полный порядок, хотя никто из начальства его об этом не просил. Лешка Соловей подошел к нему и медленно и как бы нехотя вскользь объявил:

– Разрешите обратиться с просьбой, гражданин майор?

Папа Лашин замер. Замерли и все окружающие. Все знали, что Соловей уже три года как отошел от блатных, но закон чести никогда не нарушал. Надзиратели и охранники не подступали к нему близко. Начальство справлялось о здоровье – Леха жил в туберкулезном бараке…

– В чем дело? – промямлил опешивший Лашин.

– А дело вот в чем, – спокойно разъяснил Леха, – я не хочу, чтоб на меня лишних убитых вешали. Переведите, гражданин начальник, на особый режим или в закрытую тюрьму, ребята бунтуют, а вы на меня все спишете. Да и не зарекаюсь. Будете на малолетках за наше неповиновение отыгрываться – не выдержу. Не могу я этого вынести. Вы же знаете, статья моя сто вторая – убийство. Меня от запаха крови мутит. Не могу больше.

– Да, Соловей, – начал мямлить майор Лашин, – так-то так, но не могу я вас на строгий режим перевести или в тюрьму. У нас таких законов нет. Вот ежели вы что-нибудь натворите, ну новое преступление, тогда пожалуйста.

Леха посмотрел на майора, как бы оценивая его кривоногую, криворукую и душой кривую личность.

– Гражданин майор, – сказал он как-то даже торжественно, – я убил человека случайно, не по прихоти. Понимаете, случайно. Но сейчас вы хотите заставить меня убивать людей. Я к вам с просьбой не об освобождении – переведите в самую глухую тюрьму, я людей не хочу убивать, а вы меня на это толкаете…

Вечером замполит Лашин собрал народ в столовой. Сгоняли, разумеется, всех. Я забежал в Лехин туберкулезный барак, заварили чай и ждали вестей. Первым прибежал один из малолеток и сообщил, что объявил майор Лашин: «Вся двухтысячная зона встала на путь исправления, но вот попадаются такие типы, как оголтелый убийца Соловей и закоренелый шпион Делоне. Соловей сидит за убийство, но ему все неймется, он и здесь, на лагерной зоне хочет добросовестных наших товарищей в землю закопать!» Лешка как-то вытянулся лицом и приготовился на выход из барака, как готовятся на выход из королевского дворца.

– Леха, остановись, – просил я его, – остановись.

– Хватит с меня этого, не только малолеток к нашему бунту пристроили, но и ты в зачинщиках. А обо мне что говорить, не первый год сижу…

Лешка подошел к вахте, я следовал за ним и все пытался убедить, мол, не надо. Соловей не слушал. Наконец появился майор Лашин. Он шел своей расхристанной походкой, переваливаясь с ноги на ногу. Лешка подошел к нему:

– Слушай, ты, позорная такса! Я не буду сидеть за твою подлую клевету! Я согласен на тот свет отправиться, только и тебя с собой прихвачу, понял!

Майор Лашин не то чтобы просто взвизгнул – он застонал. И бросился к надзирателям, к конвойным, ко мне.

– Вы слышали, Делоне?

– Слышал, – ответил я спокойно, – на «будьте любезны» к вам обращаются уже не в первый раз, а вам безразлично.

Лашин бросился к конвою, но и те молчали. Что-то, видимо, повернулось в их душе после беспричинного обстрела баржи. Майор Лашин выскочил, как ошпаренный, к желтого цвета отвратительным домам, в которых размещалось наше лагерное начальство. Мы с Лехой медленно шли по зоне, полагая, что приняли огонь на себя. Подбежали несколько ребят из малолеток и объявили, что все они стоят с ножами и тесаками наготове и что, как только начнется очередная расправа, они себя покажут.

– Странно, – сказал врастяжку Леха, – странно. Я-то полагал их от смерти и от новых сроков уберечь, а тут видишь, как получается.

– Блатные-то ваши где? – осведомился я злорадно.

– Вон, у пятого барака. Хочешь речь произнести напоследок? Дак они того недостойны.

Подошли вместе. Блатные, конечно, были вооружены.

– Что будем делать, цветняк, неужели отдадим малолеток на растерзание? Где ваш закон? – спокойно обратился Леха.

Помолчали… Потом как-то неожиданно решил выкрутиться Конопатый:

– У тебя, Соловей, вон друг, политик, он дипломат, пускай попробует. А то все за мужиков жалобы пишет. Пусть и за нас разбежится.

– Леха, остановись! – сказал я, чувствуя, что Соловей всем телом подался вперед. – Пойдем поговорим, лучше не будет, но хуже не станет.

Четыре тысячи глаз наблюдали за нашей «дипломатией». Мы прошли мимо штаба СВП и остановились. Навстречу нам двигалось все лагерное начальство – офицеры и надзиратели во главе с майором Мичковым. Майор был начальником по режиму. У нас на зоне его уважали, даже, можно сказать, любили, несмотря на крутой нрав и склонность к рукоприкладству. Майор разговаривал на «мать твою так» со всеми офицерами, надзирателями и с нами. Мичков вообще не любил высоких слов и не морочил нам голову перевоспитанием в духе строителей коммунизма. Вызывал он к себе на ковер за разные провинности и активистов. Поговаривали, что жаловал он их своими кулачищами еще похлеще, чем нас, рядовых зэков, отказчиков и чифиристов. Со мной майор после истории с пожаром бесед не вел, но как раз это обстоятельство было утешительным. Мог же он воспользоваться этим идиотским пожаром, чтобы накрутить мне новый срок, но не воспользовался.

– Вы что, послы уполномоченные, едрена мать! – бросил

майор, презрительно смерив нас взглядом.

– Федор Александрович, дело серьезное, – начал я.

Мичков недоуменно вскинул руку, как бы раздумывая, дать в морду или почесать свою лысую голову. Наверное, никогда в пределах лагерной зоны никто не обращался к нему по имени и отчеству.

– Федор Александрович, с минуты на минуту может начаться резня. А это не в наших и не в ваших интересах. Пойдут разные комиссии и прочая волокита.

– Вы что, меня жизни учить сюда приехали или срок отсиживать? Соловей, что этот журналист хренов городит?

– Он дело говорит, гражданин начальник, если хотите знать, – усмехнулся Соловей. – Уймите своих активистов, а то мы без законной пайки уже сколько недель подряд кантуемся. Малолетки, что ни день, в крови из штаба этого сучьего возвращаются. А сегодня ползоны поднялось, вон только политик успокоил. Говорит, прежде надо с начальством, с самим Федором Александровичем потолковать, он, мол, человек рассудительный. Ну а уж потом, ежели ничего не получится, ножами махать.

Лешка, разумеется, приврал. Но тем самым дал майору верный шанс выйти сухим из воды – не пачкаться в крови и не ударить в грязь лицом перед остальными начальниками.

– Ну а как насчет распоряжения администрации, будете выполнять или нет? – спросил майор.

– Видите ли, в чем дело, – уклончиво разъяснил Леха, – ежели гражданину замполиту необходимо, чтобы люди ходили в столовую строем, пусть так и будет. Кто хочет каши, пусть ходит маршем. Но вот лишать хлеба тех, кто от каши добровольно отказывается, это не порядок. Ведь согласитесь, даже в карцере хоть и пониженную, но законную пайку дают.

– Как же понимать всю эту хреновину? – как бы ни к кому не обращаясь персонально, проговорил Мичков.

– А это надо понимать как компромиссное решение, – вставил я.

– Компромиссное, – передразнил Мичков, – а вот с тобой, Соловей, что мне прикажешь сделать? Ты же угрожал угробить майора Лашина, а это, сам знаешь, лагерный террор называется, минимум десять лет.

– Я ему не угрожал, – беззаботно заметил Леха, – я просился на строгий режим или в тюрьму как раз с той самой целью, чтоб грех на душу не брать. Кому понравится, если кровный хлеб отбирают. За чаем пусть охотятся, им за это досрочное освобождение положено, но хлеб есть хлеб. И малолетки – не боксерские груши, нечего упражняться.

– Так, значит, говоришь, не угрожал? – переспросил Мичков. – Значит, майор Лашин, по-твоему, врет?

Лашин стоял чуть поодаль и поминутно дергался, казалось, что он завизжит от негодования. Но Мичкова он и сам побаивался.

– Да нет, – ответил Леха, – майор, конечно, врать не может, но ему могло показаться. Я, наверное, обратился к нему как-то не по форме, может, что и слетело с языка нецензурное, а он не так понял. То же ведь и работа у него хлопотная, а нервы не железные. Да вот и политик – свидетель.

– Да, разговор был путаный, – подтвердил я, – погорячились немного, но угроз никаких не было.

– Погорячились, – покачал головой Мичков, – знаю я, как погорячились. Ну вот что, Соловей, отправишься в карцер на 15 суток, теплое белье разрешаю, ты туберкулезник.

Леха повернулся, облегченно вздохнув.

– Да, подожди, подожди, – остановил его Мичков, – через час в карцер явишься, а сейчас ступай со своим дружком-журналистом к этим вашим вшивым повстанцам, чтобы все спокойно было. Сам проверю. – И, обращаясь к офицерам, объявил: – Хлеб пусть дневальные шныри по баракам разносят, а с кашей – не хотят жрать, пусть не жрут. И придурков этих из штаба СВП – ко мне.

Когда мы с Лехой возвращались к баракам, штабистов уже гнали мимо нас к Мичкову. Они посматривали на нас уважительно, и не оттого вовсе, что наша взяла, а потому, что взбучка у Мичкова хоть и предстояла солидная, но перспектива досрочного освобождения от жизни под ножами малолеток тоже не очень-то улыбалась им.

Надо ли говорить, что малолетки встретили нас восторженно. Ножи, пилки и все прочее вооружение исчезло за пять минут, и когда всех до одного через час выстроили в центре зоны и провели трехчасовой детальный шмон, не нашли решительно ничего, даже чая.

– Черт знает, где они чай прячут, – рычал Мичков, но больше для порядку.

Когда шмон кончился, я сказал малолеткам:

– Тащите кулек чая, да побольше, попытаюсь в карцер Лехе перекинуть.

– Чай в карцер, да этого еще никто не ухитрялся, туда, кроме начальства и тех, кто там отдыхает, никого не впускают, менты сторожат. Один шнырь там торчит, но такая сука!

– Вы мне про карцер рассказываете, я сам недавно оттуда. Попытаюсь.

Кулек с чаем притащили немедля. Я пошел один и еще издалека крикнул:

– Эй, начальник, я по делу!

– По какому такому делу? – смеялся старшина. – Ты что, спятил, добровольно в мешок хочешь?

– А что, разве у тебя нет постановления меня засадить? – сделал я удивленный вид.

– Нету никакого постановления, Мичков только Соловья сюда направил и то указал особенно не морить.

– Ну, тогда ладно, – сказал я и повернулся, – кстати, будь любезен, вызови ко мне шныря, он мне кое-что должен.

– Эй, Яшка, – крикнул старшина, – политик пришел, говорит, ты ему что-то должен.

Яшка вышел ко мне и остолбенело уставился. В обязанности шныря при карцере входило топить, вернее, не топить этот карцер, ибо температура там поддерживалась ровно такая, чтобы не сдохнуть. Кроме того, он раздавал раз в два дня пониженное питание. От этого вислоухого Яшки не то что окурка, но и снега-то зимой не допросишься. Яшка был беззаветно предан начальству, но сегодня как раз это обстоятельство играло мне на руку.

– Ты слышал, Яков, что резня на зоне готовилась и что Соловей ее остановил?

Яшка сопел и озирался на дверь своей вотчины.

– Так вот, отдашь Лехе. – Я быстро сунул ему за пазуху кулек с чаем. – И чтобы по первому требованию кипяток выдавал. А то малолетки между собой толковали, что уж ежели заделывать козью морду активистам, то и тебе не мешает уши обгрызть. Еле мы их утихомирили.

Вертухай появился на пороге:

– Что это ты политику задолжал? – спросил он у Яшки недоверчиво.

– Да я ему бумагу на помиловку сочинял, начальник, он вот обещал с отоварки хлеба белого подкинуть, да что-то жмется, – ответил я.

– Как же, дождешься! Он и матери родной корку пожалеет!

Яшка прошмыгнул с чаем на «рабочее место». Я знал, что поручение он выполнит. Малолетки ждали меня с нетерпением.

– Порядок! – объявил я. – Презент ваш уже у Соловья.

– Да как тебе удалось, политик?

– Да так, наплел всякой околесицы, секрет фирмы.

* * *

Блатные из шакалья подошли сдержанно поблагодарить за успешные переговоры. В случае поножовщины они не посмели бы отказаться от столкновения с активистами, но ведь все дело решил Соловей, обошлись без их помощи.

Мой авторитет все больше и больше рос в глазах малолеток. Конопатый и его компания прикинули и рассудили просто: кто же из малолеток станет шестерить, прислуживать им, бить, когда надо, мужиков, если появились новые лидеры, которые смотрят на упражнения их теневого кабинета искоса. Да еще в лидеры попал какой-то политик «не в законе», не вор, болтун и фраер, не желающий замечать даже разницы между мужиками и «честными ворами». Конопатый и его компания боялись на зоне только трех человек – Егора, но он уже был в изоляторе для смертников, Леху Соловья, но его отправили в карцер, и Саньку Арзамасского, но тот через пару месяцев освобождался, и шакалы полагали, что по этому поводу он не захочет снова пойти на большой срок, на мокрое дело, на поножовщину.

Костю звали Конопатым, потому что все лицо его было в рыжих и оранжевых пятнах, будто он поминутно сбрасывал собственную кожу. Блатные его не очень любили. Ибо судили его за изнасилование, а эта статья в лагере не почетная. Правда, Рыжий с картами в руках доказывал, что приписали ему дело менты специально, чтобы его в грязь кинуть. И когда Соловей отказался вести аристократические разборы среди блатных, Конопатый стал идеологом тех, кого презирали за крохоборство, тайное соглашение с активистами не трогать друг друга и за манеру хоть как-нибудь, да выказать себя мафиозами. Впрочем, строго говоря, вся эта компания воровских законов не нарушала. И никто не мог припереть их к стенке… Конопатый подошел ко мне, как маркиз к дворецкому.

– Ну, политик, тебя только в парламент. Куда наши идиоты в Кремле смотрят, тебя не на лагпункте, а в посольстве держать надо.

– В посольстве, сэр, – отчеканил я, – таких, как ты, дожидаются, только вот грамоты у тебя не достает. А я для них не подхожу – характер не тот.

Наступило минутное молчание. Все понимали, *что* я сказал. Конопатый мог убить меня сразу, в этом ни у кого не было сомнений. Но одно дело – убить просто политика и потом оправдываться перед заезжими чекистами, что не стерпел, мол, наглого антисоветчика, ну дали бы лет пять, не больше. А другое – убить друга Соловья и Арзамасского. Найдут, отомстят, и ни одна милиция не раскроет. Все это я прочитал в неподвижных белесых глазах Конопатого.

– Ты это к чему городишь? – кусая свои бескровные губы, осведомился он и медленно полез рукой в карман, но вдруг понял, что малолетки наготове и, по крайней мере, сегодня расправы надо мной они ему не простят. Конопатый поскреб, пошуршал в кармане, побрякал чем-то и вытащил пачку сигарет.

– На, закури…

Я закурил и спокойно нагнулся к спичке, которую он мне поднес.

– Я вот к чему – у дипломатов наших не требуют знания истории или прочих наук. От них вообще ничего не требуют, кроме крепких нервов. А ты ведь парень, в смысле нервов, не слабый.

Конопатый понимал, что я нанес второй удар, но прикрылся изящным полупоклоном:

– Насчет нервов мы еще с тобой поговорим. Зайди как-нибудь ко мне в барак.

– Зайду, Конопатый, отчего не зайти, на вахту к ментам за помощью не побегу.

Конопатый медленно пошел в сторону своего барака. Я знал, что он не был трусом. Он просто привык убивать наверняка и без особо тягостных последствий. Такой случай в этот день ему не представился…

* * *

Малолетки толклись в моем бараке и донимали бестолковыми вопросами: что написал Солженицын, сколько было любовниц у Дюма и правда ли, что Христос был Богом, а теперь это замалчивают? Я в меру сил и познаний отвечал, отрываясь от писания жалоб для мужиков и любовных писем для блатных. Правда, любовную переписку я резко сократил. Тем, кто общался с Конопатым и его компанией, я отказывал, и они, не вступая в пререкания, молча отходили в сторону, даже как бы и не обижаясь. Из малолеток особенно досаждал мне вопросами долговязый и смешливый парень, державший голову всегда как-то набок. Темные ресницы его поминутно вздрагивали и захлопывались, как будто он перелистывал страницы мировой истории и боялся что-нибудь пропустить. У него и фамилия была нелепая – Мочалкин. Больше всего его интересовали мои пересказы из Евангелия. Стихи о фарисеях, которые выпросил у меня Архипыч, дошли и до него, и я нежданно-негаданно оказался в роли чуть ли не проповедника, на что уж никак не претендовал. Не имея никакой возможности раздобыть Новый

Завет в лагерной зоне, я излагал его содержание, мучительно напрягая память, и более чем примитивно. Однако слушали, затаив дыхание, а когда я выходил из барака перекурить, начинались жаркие споры. Мочалкина более всего возмущало то обстоятельство, что Иуда донес на Христа за тридцать рублей, как он выражался.

– Сребреников, – поправлял я его.

– Ну, по-нашему 30 рублей. Такого человека. Сына Божьего распяли. А я еще за себя убиваюсь – меня за 45 рублей, да и те краденые, на пять лет засадили. И мне уж кажется – куда несправедливей.

– Как это так, Мочалкин, неужели всего за 45 рублей, это ж вообще не деньги? – спросил я, впрочем, ничему уже не удивляясь.

– Да кроме того, еще и лихость проявил, стыдно сказать. Я в техникуме учился, у нас в поселке, кроме техникума и двух заводишков, ничего в округе. Ну привезут кино раз в неделю, и то муру какую-то. Мы с ребятами так и тыкались из угла в угол, может, и были бы так, непутевщиной, но у одного из наших роман Дюма был «Три мушкетера». Ты-то, небось, читал, но, говорят, и у вас в столице дефицит.

– Дефицит, – усмехнулся я… Думал ли Дюма, что «столько лет спустя», в самой передовой стране мира за его книгами в очередь выстраиваться будут, как за колбасой или пивом.

– А у нас одна книжка, истрепанная такая была, – продолжал, приободрившись, Мочалкин. – С этого Дюма все и началось… Мы к своим девчонкам из техникума шпану из ремесленных училищ и со строек не подпускали – те пьяные приходили, с ножами, так, покуражиться и хором какую-нибудь из наших опозорить норовили. Вот видишь, – Мочалкин задрал робу. Все тело было в шрамах. – Но сами мы их не трогали – малолетки. Мы цветы им даже носили, правда, втихую, чтобы шпана не засмеяла. Они ночами над цветами этими плакали, поливали, в общем, цветы слезами, чтобы не вяли… Ну а нам все же хотелось показать, что мы хоть их и оберегаем, а сами вроде мужики самостоятельные и лихие. К потаскушкам местным мы не ходили, те за бутылку портвейна на все согласны. Зато были у нас в поселке три девушки, не то что бляди, но погулять любили. Они тоже в общежитии жили, только у каждой отдельная комната. Одна секретаршей у начальника завода работала, другая – по музыкальной части где-то в клубе преподавала, третья в наш поселок училкой по математике была прислана. Короче, интеллигентные девицы, шпану нашу даже близко к себе не подпускали, только заезжие инженера с ними гуляли. Ну и

накатали мы им письмо – еще раз всех трех мушкетеров перечитали и от себя добавили, что смогли, так втроем и расписались. Они нам ответ на какой-то голубой бумаге прислали – заходите, дескать, виконты, познакомимся. Ну, мы пособрали мелочь, на три бутылки вина хватило, да еще у одного приятеля эстамп взяли с портретом Хемингуэя. Хемингуэя мы, правда, не читали, негде достать, но эстамп хороший – в бороде такой мужик и в заграничном свитере. Друг этот эстамп под матрацем прятал, говорил, что сам Сикейрос рисовал или еще кто-то из знаменитых коммунистов, потому, мол, в Москве выбросили партию портретов. А у него знакомый был один в Москве, расщедрился, на совершеннолетие прислал как подарок. Еле мы этот эстамп у него вымолили. Долго он упирался, а потом говорит: «Эх, для такого случая и Хемингуэя не жалко!» – и к стенке отвернулся. Мы впятером в нашей комнате в общежитии жили. – «Желаю, – говорит, – счастливого плавания!» Ну мы и поплыли. Старшая, Лизка, та, что секретаршей у директора работала, пышная такая и в болгарской кофте с вышивкой, дверь со смешком отворила: «Мы думали, все виконты с усами, а у вас что-то незаметно». – «Зато борода есть! – сказал я и сунул ей эстамп. – Может, пригодится, стенку украсить». – «Девочки, так это ж Хемингуэй! Вот так подарок!» Выпили вина, но Лизка все лезла ехидничать: «Что ж вы, то про Дюма, то с Хемингуэем приходите, а сами дешевую бормотуху пьете!» Я говорю: «Не знали, что вы предпочитаете». – «А к нам в продмаг на прошлой неделе коньяк завезли! – смеется Лизка. – Наши-то не берут, дорого и непривычно, а вот инженеры приезжали тюменские, сразу по бутылке взяли и нас угощали. Очень понравилось инженерам, говорят, не хуже французского». – «Брось ты, Лизка! – вмешалась математичка. – Откуда у пацанов деньги на коньяк, что ты над ними измываешься!» Меня не Лизка даже взбесила, а то, что училка нас пацанами обозвала. «Сейчас будет коньяк», – говорю. Дружки за мной поднялись и в дверь. «Что будем делать, Мочалкин?» – спрашивают. – «Двинем к тете Клаве». – «Как же, даст она тебе! Мы ей уже три рубля должны, да и продмаг закрыт». – «Тогда, – говорю, – запоры взломаем, а утром всех ребят обежим, наодолжаем и деньги вернем. Может, выкрутимся». С засовами возились долго, но уж больно гордость нас заедала, чуть не зубами грызли, ну как граф Монте-Кристо стенку в камере. Забрали четыре бутылки коньяка и кулек конфет. И назад вернулись. Красотки наши так и обомлели. «Вот это, – говорят, – виконты!» Ну приласкали, как полагается, а наутро где-то вина раздобыли. Мы до двух часов дня проспали. В два часа нас и взяли. Кто-то видел со стороны, как мы железо кромсали. Я все

дело на себя взял. Дружкам моим по три года назначили, мне – пять. А убыток, как ни крутили больше приписать, всего 45 рублей получился. Клавка-продавщица, хоть и материлась всегда и в долг неохотно давала, но нас не стала топить, даже про то, что три рубля мы ей так и не отдали, на суде ничего не показала. Лизку-секретаршу директор отстоял, математичку из учителей за разврат выгнали, музыкантшу тоже. А Хемингуэй так и висит в Лизкиной комнате… Эх, политик, в первый раз я тогда нег любви вкусил, как говорит Дюма, теперь уж больше не придется!

– Отчего ж не придется? – тревожно спросил я. – Люди и по двадцать лет сидели, и то ничего.

– Не в этом дело, политик, сам знаю, не мне одному худо. Но мне конец сегодня!

– Как так, конец? У тебя конец срока через три года, что ты вдруг в отчаяние такое впал?

– Да я не о конце срока говорю… Как мне быть, политик, ты говорил, по закону Божескому так получается, что самоубийство – грех, даже если в лагере?

– Так, – сказал я несколько неуверенно.

– Ну а если, кроме своей смерти, еще и другого человека убить, это как? Да еще такого, которому по закону должен?

– Это уж совсем ни к чему, – бессмысленно произнес я пустые слова и ужаснулся от того, насколько и вправду слова бывают совершенно пустыми, вроде консервной банки, в которой мы заваривали тайком чай. – В чем дело, Мочалкин? Скажи, как джентльмен джентльмену!

– Да понимаешь, политик, блатным я себя проиграл, и срок через три часа. Если попросят крови налить, то я им налью, я знаю, как порезаться. Но могут приказать шестеркой быть или опедерастят, а это, сам знаешь, – конец. Что же мне делать? Я и веревку для себя, и нож для них раздобыл. Что лучше, что посоветуешь?

– Советую, – сказал я, – три часа подождать. Там видно будет. С кем ты играл?

– С Конопатым.

«Совсем плохо», – подумал я.

– Ну и на что, на представку?

– Что такое, на представку? – вылупил на меня глаза Мочалкин.

– Ну в долг или не в долг? – спросил я.

– Конечно, в долг, – затараторил Мочалкин, – на сорок пять рублей играл.

– А почему именно на сорок пять?

– Да я, – замялся Мочалкин, – хотел Клавке этой,

продавщице, деньги отослать, чтоб доказать, что я не какой-нибудь подлый ворюга, а так, из лихости…

– Посиди в бараке, я что-либо придумаю пока. Веревку и нож спрячь, – объявил я, хотя никак не знал, что я могу придумать.

Садиться играть с Конопатым за карты было делом весьма бесполезным – все равно колода крапленая, да и не специалист я в этом деле. Лешка Соловей отдыхал в карцере. Арзамасский, хоть и друг, но против блатных за мужика играть бы не стал. Оставался Колька-наркоман. Я бросился к нему.

– Надо одну штуку состряпать. В карты сумеешь раскладку сделать?

– С кем играем? – спросил он. – Ты вроде не за себя просишь?

– Не за себя, конечно. Надо попробовать: малолетку одного опедерастить хотят или списать со счетов жизни. Сразу тебе говорю, играем против Конопатого. Отвечаю я.

– Против Конопатого трудно, – усмехнулся Никонов. – Вот если бы травки найти, я бы их разложил по всем мастям. Я себя знаю – первые два часа голова светлая, и рука сама какого надо валета, такого и вытаскивает. Но только два часа.

– Слушай, Коля, подожди, есть идея! – сказал я и побежал в Лехин туберкулезный барак. Среди соседей по нарам бывшего короля был один человек весьма значительный, лет за восемьдесят, тоже туберкулезник и верный исламист. Он, сколько можно было судить, всю жизнь ходил через границу и таскал травку. По-русски он понимал еле-еле.

– Мухамет, – сказал я ему, – Соловей тебя спасал!

– Добрый человек – Соловей, – закивал Мухамет.

– Ну так вот, ты знаешь, что я – его друг. Достань травки, да побольше, потом рассчитаемся.

– Нет у меня травки, – качал головой Мухамет.

– Есть, – сказал я твердо. – Человека надо выручать, я не для себя. Человека убьют или педерастом заделают, понимаешь, педерастом. Миску проткнут, никто даже руки ему не подаст, спать под нарами будет. Да и на свободу если выйдет, потащится за ним дурная слава. Сделай добро, Мухамет! А я тебе за добро добром отплачу.

Мухамет, покачиваясь на своих стариковских ногах, куда-то вышел и принес из тайника кулек.

– Ну что, Коля, пойдет масть? – спросил я у Никонова, ждавшего меня на улице.

– Думаю, что пойдет, – взвесив на руке мешочек, серьезно объявил тот.

Блатные обычно собирались в четвертом бараке, на время их встреч даже активисты старались исчезнуть в курилку.

– А, сам политик пожаловать изволил! – усмехнулся Конопатый.

– Ты же вроде в гости приглашал, или я ослышался? – осведомился я.

– Да нет, что ты, садись, садись, закуривай.

– Что же, так табак и тянете? А травки не хотите пригубить?

Я достал свой сверток, и все забили по косяку.

– Может, в картишки сыграем? – спросил Конопатый.

– Сыграем. Только игра скучная. На час подписываюсь и с правом замены.

Никонов сидел в стороне, спокойно покуривая дурманящую травку.

– На представку играешь? В долг? – осведомился Конопатый.

– Зачем же меня чернить. Денег куча, почти миллионер, – отрезал я и вытащил смятый червонец, который я занял у Коли.

– Солидно ты заходишь, – удивился Конопатый. Началась игра. Я думал только об одном – надо продержаться час. Я знал, что на кон поставлена человеческая жизнь, и знал, что карты крапленые. Я видел, как мухлевал Конопатый, но только усмехался. Мне чудовищно везло. Никогда в жизни мне так не везло. Сверх червонца, с которого я зашел, я отыграл у Конопатого еще один.

– Час прошел, – заметил я.

– У тебя что, часы на руках? – угрюмо спросил Конопатый.

– Часы на вахте, там срок отмечают, как мой, так и твой.

Надо было отыграть еще 40 рублей, но я знал, что могу не выдержать, зарваться.

– Хорошо ты зашел, политик, дай я за тебя сяду играть, если компания позволит, – как бы невзначай проронил Никонов.

– Садись, садись, – нетерпеливо утвердил Конопатый. – На что играешь?

– А это как политик скажет.

– Пятьдесят рублей. Как кто проиграет пятьдесят, так и конец игре, – ответил я.

– Ты, что ли, отвечаешь, политик?

– Конечно. А с каких пор ты за меня так переживаешь?

Коля Никонов играл блистательно. Он швырял карты наугад. Я знал, что у него просветление от травки, но ненадолго. 50 рублей он выиграл за полчаса. Наступило молчание.

– Прошу права на отыгрыш. Я в законе, – сказал Конопатый.

– Еще 20, – ответил я.

Коля посмотрел на меня умоляюще. Глаза его медленно тускнели.

– Еще по косяку, ребята, – предложил я. Никто, конечно, не

отказался. Я заменил Никонова.

На сей раз я передернул, смухлевал, нет, не в картах, – я закурил «Беломор», а Конопатый затянулся травкой. Карты ложились на стол – пики, как финки, черви, как окровавленные души. Я отыграл 20 рублей. Выиграть в карты у блатного – дело опасное. Долг, конечно, отдадут, но живым можешь не выйти. И отыгранные денежки пойдут на поминки. Я это хорошо знал, знал и Коля.

– Как ты думаешь, – спросил я Никонова, – эти 20 рублей не в счет, раз поставлены на отыгрыш?

– Конечно, не в счет, – сразу понял меня Коля.

– Вот что, – сказал я, – кажется, курево кончается, пусть кто-нибудь сообразит, где выпивки достать на эти два червонца, на всю компанию.

– Это дело нехитрое, – подмигнул кто-то из блатных. Червонцы исчезли и взамен появился жбан самогонки.

– Что это ты, нам одалживаешь? – спросил Конопатый.

– Нет, за уважение СЕВУРАЛЛАГа! Выражение это не мною придумано, кто-то очень давно его сочинил. Это значит, что угощаешь от души, а не в долг. В честь тех, кто в море, то есть в Архипелаге ГУЛАГе…

– Шнырь! – сказал я тихо дневальному. – Беги за Мочалкиным, живо!

Все быстро пьянели. Явился Мочалкин и, стоя в проходе между нарами, таращился на нашу компанию.

– Выпей, – сказал я. – Сколько ты задолжал ребятам?

– Сорок пять рублей.

– Это верно? – спросил я, как бы ни к кому не обращаясь.

– Верно, верно, – подтвердил кто-то из блатных.

– Тогда, значит, никто никому ничего не должен. Как в сказке. Виконт! – сказал я Мочалкину. – Ваш долг погашен. А оставшийся червонец опять же, на всю компанию.

Кто-то снова ринулся за самогонкой.

– Ты что сюда, чести и закону нас учить заявился! – озлился Конопатый. – Второй раз нас разыгрываешь, прямо как колодой по носу щелкаешь!

– Кое за что в добрые времена канделябром по голове били, – уклончиво ответил я.

– Ты давай говори без намеков! – поднялся Конопатый. – На что намекаешь?

– На Дюма, – вздохнул я, – ты бы лучше Дюма почитал на досуге.

– Вот и расскажи нам что-нибудь из Дюма, – не понял Конопатый. – А то все за мужиков хлопочешь да байки про Бога

рассказываешь.

– А я, собственно, за то и сижу, что хочу, то и рассказываю. И кому хочу. Не по заказу. Ты меня понял? Я в шестерках, в лакеях никогда не был. А ежели ты собираешься меня на тот свет погулять отправить, то не очень спеши. И без тебя много желающих имеется из числа ментов меня в этот путь снарядить.

– Ты меня с ментами не путай! – захрипел Конопатый. – Я в законе!

– Законы разные бывают, – возразил я. – Ну что, выпьем по последней и на сегодня в расчете.

– На сегодня, да! – усмехнулся Конопатый. Выходили из барака втроем – я, Мочалкин и Коля Никонов.

– Ты же мне жизнь спас! – сказал Мочалкин.

– Я тут ни при чем. Благодари Колю-наркомана, маки, из которых дурь делают, и Аллаха, что надоумил Мухамета расщедриться. И вот что, дай-ка мне адрес этой твоей продавщицы Клавы.

– Зачем тебе ее адрес? – удивился Мочалкин. – Она так, не очень интересная.

– Я просто хочу написать ей, что 45 рублей ты отдашь, когда сможешь. Помнишь и не забываешь, что она тебе и три рубля простила, и старалась тебя выгородить, хоть и не совсем удачно. Можно?

– Можно, – согласился Мочалкин. – Ты уж ей покрасивее напиши, а то видишь, хотел деньги послать, а получилась чепуха какая-то.

– Чепуха твоя еще дорого может обойтись политику, – заметил Никонов.

Мочалкин выводил на папиросной пачке адрес дрожащей рукой и все порывался извиняться. Коля отправил секретную депешу по своим каналам в Москву моим друзьям. В депеше было написано: «Отправьте по указанному адресу, если удастся достать, кофточку из валютного магазина, джазовую пластинку и „Три мушкетера“ Дюма. Займите. Если выйду в срок, отдам. Вложите записку „От друзей Мочалкина“».

Просьбу мою выполнили. Мочалкин явился ко мне в барак.

– Клава-продавщица вот письмо прислала, вот, – тупо повторял он, как будто в этом было что-то совсем уж невероятное. – Пишет, что такой богатой никогда не была, что кофте все подруги завидуют, а пластинку просят каждый день включать и окна вокруг открывают, чтобы послушать. И на «Мушкетеров» в очередь записываются! – тараторил счастливый Мочалкин.

Соловей и Арзамасский моей игры с Конопатым не одобрили,

каждый по-своему.

– Опять тебя на подвиги тащит, – сокрушался Соловей.

Арзамасский был обижен. Он негодовал, что я пошел отыгрываться с Колей Никоновым, а не с ним.

– Санька, я знаю, что ты и без всякой травки этого Конопатого выставил бы и разложил на лопатки, но ведь у вас сговор – между своими не играть, а ты тоже в законе.

– За тебя я бы сел играть, – возражал Санька.

– Так ведь не за меня, а за Мочалкина игра шла. А он по вашим понятиям – мужик и крупных ставок недостоин.

– Если бы ты попросил, я бы сыграл, – повторил Арзамасский.

– Боюсь, что такой случай тебе еще представится, – заметил я.

– Сколько ты травы под эту игру у Мухамета одолжил? – осведомился Санька.

– Понятия не имею, пойдем спросим.

– Мухамет, сколько тебе политик за травку должен?

– Ничего не должен, – качал головой Мухамет. – Он за человека играл, человека могли опедерастить, на всю жизнь в грязь втоптать. Мухамет, хоть и старый, и глухой, а все знает, что кругом творится. Что мне надо? Ничего мне не надо. Хорошо бы в своей деревне умереть. Да наверно, не доживу – туберкулез, а еще четыре года осталось до сроку. А так, что мне надо? Сала я не ем, закон у нас – сала нельзя. Чай можно.

– Чай каждый день у тебя будет, – сказал Санька.

Но я думал не о чае. Всякому человеку страшно умирать, но умирать в тюрьме – страшнее не придумаешь…

Приехал вольный врач. Вызвал на прием и был поражен тем, что на легкие работы меня, вопреки его предписаниям, не перевели.

– Лев Семенович, тут человек в туберкулезном бараке, ему за 80. У него одно желание – умереть на свободе. Может, хоть это устроите?

Врач был человеком порядочным.

– Это я Вам обещаю. И знаете, почему могу обещать. Потому как я не просто невропатолог. Я – единственный на всю Тюменскую область сексопатолог. У меня вся здешняя верхушка лечится от импотенции. Я такого за эти годы понаслушался, даже самому себе верить иногда перестаю. Вот пишу диссертацию, да кто ее опубликует, засекретят мою работу. Впрочем, я и сам не понимаю, какая тут связь – служба в органах и импотенция. Очевидно, людям, которым все дозволено, все быстро приедается. Уходят от них нормальные человеческие чувства, невозвратимо уходят. Возбуждают их только извращения, им самим иногда от этого страшно становится… Как зовут Вашего старика? Мухамет?

Вы не думайте, Делоне, что я отказываюсь от идеи помочь и Вам. Буду добиваться, ставить ультиматумы. Но за старика я Вам твердо ручаюсь.

Мухамета тоже вызвали на прием. Когда я забежал в Лехин барак, старик подозвал меня к себе:

– Я знаю, что ты хлопотал. Ты не веришь в Аллаха, но Аллах тебе поможет. Я всю ночь за тебя молился.

* * *

Мне и впрямь самое время было обращаться хоть к Аллаху. Дела мои шли из рук вон плохо. Освобождался досрочно бригадир Иван. Я радовался его освобождению, поскольку ничего плохого он мне не сделал, а наоборот, всегда старался скрыть мои уклонения от доблестного труда. Однако уход Ивана ничего хорошего мне не сулил. Уже назначили нового бугра. Звали его Лохматым – за верную службу начальству ему разрешалось носить «шевелюру» в два сантиметра. Лохматый был удивительно гнусным типом. Он ненавидел всех и вся на белом свете. Был он из шоферов, попал в лагерь за какую-то пьяную аварию, сразу же стал активистом.

И направили его на «химию», то есть на стройки народного хозяйства. У нас отчего-то любое техническое мероприятие преподносится народу с невероятной торжественностью. Незабвенный Ленин объявил, что «коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны!» Потом решили, что для построения коммунизма этого маловато. Учредили пытки и чистки. Потом потребовали поднять целину. Потом ввели химизацию. Вот под этот лозунг и отправляли на «волю» достойных из заключенных. Впрочем, «химия» эта – весьма сомнительная благодать. За выпущенным на «волю» заключенным срок продолжает числиться. Назначают его на работу, никак не спрашивая, каковы его пожелания, и поселяют в общежитие, в комнату на пять-десять человек. За любое нарушение, появление в нетрезвом виде на работе или же пререкания с комендантом общежития заключенного возвращают в лагерь. И срок, отработанный им на «химии», не засчитывается. Так что он начинает сидеть сначала. Так и произошло с Лохматым. Четыре года отпахал он на цементном заводе, а за день до окончания «вольного» срока напился и сказал пару ласковых коменданту общежития. Лохматого направили в лагерь и предстояло ему отсиживать опять же четыре года. Он лез из кожи, чтоб этот срок сократить. Ивана освободили досрочно за удачные кражи

стройматериала с лесобазы для лагерного начальника. Лохматый был менее способным человеком. Единственное, что он умел, – гонять заключенных и обеспечивать план.

Иван попросил подарить ему на прощание стихи.

– Про любовь, – говорил он рассудительно, – мне не надо, меня и так бабы любят, да к тому же я женат. Что ж я, жене, что ли, стихи читать буду. Это как-то неловко, еще решит, что я одурел в лагере, свихнулся. Ты мне лучше про коммунистов что-нибудь напиши. Я ведь так им, дурак деревенский, верил. Ну теперь-то насмотрелся.

Я вспомнил какие-то старые строки, первый опыт в публицистике:

Пусть каналии рвут камелии,
И в канаве мы переспим.
Наши песенки не допели мы —
Из Лефортова прохрипим.

Хочешь хохмочку – пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом черту продали
За уродливый мавзолей.

Только дудочки, бесы властные,
Нас, юродивых, не возьмешь,
Мы не белые, но не красные —
Нас салютами не собьешь.

С толку, стало быть… Сталин – отче ваш.
Эх, по матери ваших бать.
Старой песенкой бросьте потчевать —
Нас приходится принимать.

Три дороженьки. Дар от Господа
В ноги идолам положи.
Тридцать грошиков вместо Посоха
Пропиваючи, не тужи.

А вторая-то прямо с выбором —
Тут и лагерь есть, и тюрьма,
И психушечка – тоже выгода
На казенные на хлеба.

Ну, а третья-то… Долей горек тот,

Если в этот путь занесло, —
Мы б повесились, только толку что,
И невесело, и грешно.

Изготовлял я этот прощальный подарок для бугра Ивана в комнате при тепляке, где была оборудована мастерская. Простым смертным вход туда был запрещен – отлеживались там блатные и бригадиры варили чай. Дверь отворилась, и в мастерскую ворвался лейтенант Лиза с надзирателем Верхонкой. Кто-то из своих ловко исхитрился перехватить исписанный мною листок и мгновенно пристроил его под отходами производства. Но Верхонка мог соперничать с самим Лашиным в смысле въедливости. Обыск был его тайной страстью, и в этом деле он действительно был филигранным специалистом. За то его и называли Верхонкой, что он умел все загрести в свою лапу (а верхонка – это брезентовая штуковина вроде рукавицы).

Верхонка быстро разыскал листок. Сразу же меня отвели на вахту и направили в карцер.

Жаркое тюменское лето пролетело за два месяца, началась легкая сибирская осень, что в западных странах именуется холодной зимой. Шнырь Яшка, конечно, следовал приказу и карцер не топил. Стекла были выбиты, а решетка тепло не сохраняет. «Странно, – размышлял я, – неужели лейтенант Лиза выследил меня и отомстил за беседу о Бёлле?» Правда, шнырь Яшка явно воспринял мое заявление о том, что малолетки собирались ему «отгрызть уши» и что я их, якобы, удержал. Яшка был вполне корректен. Даже в карцере заставляли работать: всучивали какие-то ржавые прутья, которые требовалось очищать наждачной бумагой. За отказ от этого мероприятия лишали и без того пониженного питания. Нары пристегивались к стене замком от шести утра до десяти вечера. Стула, разумеется, не было, оставался только цементный пол. И в баню не выводили. Уже на третий день тело покрывалось нарывами. Я никогда не думал, что холод – такая страшная пытка. Холод – это и бессонница. Инстинкт жизни заставляет человека метаться из угла в угол камеры, два на три метра. Яшка помогал, как мог. Он выдавал мне предназначенные для зачистки прутья. Я ничего не делал, но когда Яшка сдавал готовую продукцию, оказывалось почему-то, что я свою норму выполнил. Как уж он исхитрялся это устроить, не знаю. Через дня четыре ко мне в камеру подбросили Макара. Макар был из друзей Конопатого, но любой душе обрадуешься в карцере. Был он в законе, но как-то не в особом почете у блатных. Сидел за десять убийств, и не расстреляли его только потому, что

убивал он, будучи несовершеннолетним. Парень он был какой-то безалаберный и расхлябанный. И несмотря на гигантский рост и могучее телосложение, вечно попадал впросак, даже за самого себя постоять толком не умел. Зато в камере карцера он был человеком незаменимым, бесстрашно перекрикивался с камерами барака усиленного режима – БУРом, требовал от них махорки. В нашу камеру бросали «коня» – веревку, которую мастерили из последней оставшейся на теле робы. Мы ловили конец веревки часами и получали подогрев в виде махорки, тщательно упакованной в тряпочку.

– Смотри, с политиком делись! – орали блатные.

Макар и так бы делился, без указаний, был он парнем довольно-таки добродушным.

– Слушай, Макар, – сказал я, – одна коммунистическая блядь Долорес Ибаррури объявила, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. К условиям нашего социалистического карцера это изречение явно не подходит. Я выдвигаю новый тезис: «Лучше умереть лежа, чем стоять по струнке». Макар, мне говорили, что ты умелец. Можешь сделать отмычку?

Макар принялся за работу, и через час изготовленной отмычкой мы открыли замок, которым нары пристегивались к стене. «Восстание» в карцере администрацией было отмечено. Явились офицеры и вынесли постановление лишить нас на год вперед права на закупки в лагерном ларьке (семь рублей в месяц). Ни на меня, ни на Макара эта драконовская мера не произвела впечатления. «Все равно за что-нибудь лишат, – размышлял Макар, – а так хоть не на бетоне полежим, а на нарах. Они же не имеют права нам прутья железные не выдавать, у них же план. А нам их план на сей раз на руку. Я уже наловчился, за пять минут могу любую отмычку сделать. Да и Яшка тебя отчего-то боится, вон в камеру три раза кипяток носит. С тобой сидеть в карцере – одна благодать. Человеком себя чувствуешь».

– Макар, – спросил я, – а зачем ты десять человек угробил?

– Я-то, – замялся он и долго подбирал ответ, – от скуки.

– То есть как это так?

– А так. У нас в глухомани не то что голоса из Америки не услышишь, но и вообще ничего не достать. Не ходить же на танцы под советские песни, – под эти песни не поймешь, как и двигаться. Паренек у нас один был в поселке, сын райкомовской шишки, на мотоцикле катался «Ява», девочек на заднем сиденье возил, ну а нас грязью облепливал. Мы его как-то встретили у оврага, отдавай, говорим, твой самокат, а он в крик: «Всех пересажаю! Я вас к ногтю прижму!» Пришлось прирезать. Но и с мотоциклом тоже глупость – мотоцикл-то у него один на весь

поселок был. Кто же на нем кататься поедет, сразу же заберут и обвинят по всем статьям. Решили, уж раз пропадать, так с кипешем, шум то есть устроить. Встретили участкового милиционера, отобрали пистолет и прихлопнули его. А на клубе городском вывесили объявление, дескать, имеем в виду террор – кто подойдет близко к оврагу, – всем смерть! Ну и шумиха поднялась! С пулеметами окружали, а у нас всего-то один патронташ, тот, что у мента забрали. Ну на десять человек пуль хватило. Троих из наших пристрелили, а я вон с тобой сижу.

– Слушай, Макар, и не жалко тебе людей – за мотоцикл?

– Конечно, жалко, добро бы за машину, а то и правда, кому этот мотоцикл нужен! Зато мы такой шум по всей нашей провинции подняли. Вроде как эти ребята из Красной Армии германской, о которых все в нашей «Правде» пишут, хорошие ребята, как ты думаешь, политик?

– Не знаю, пока не встречался. Одного из их покровителей и доброжелателей, правда, видел, Бёллем зовут. Эти немецкие левые вроде как за идею, а не просто шум поднять. Правда, когда за идею, – это еще хуже, чем за мотоцикл…

– Может, напишешь этим ребятам, что я готов к ним примкнуть? – спросил Макар.

– Дело это скользкое, – ответил я. – Да и боюсь, в политики тебя зачислят, Макар. Ты же знаешь, у тебя срок как срок, хоть десять загубленных жизней за душой, но тебя день в день освободят. А меня – не знаю, когда отсюда выпустят.

– Да, дело серьезное, – согласился Макар. – Не пиши, пожалуй, черт с ними, с этими левыми, прогрессивными.

Мы обнялись с Макаром, чтобы окончательно не задыбеть и не окочуриться.

На следующий день навестил меня в лагерном узилище майор Лашин.

– Попались, Делоне? – спросил он вкрадчиво.

– Ни на чем я не попался, гражданин майор. Если вы о стихах моих печетесь и беспокоитесь, так стихи эти давно в КГБ известны и хранятся в архивах.

– А для чего же вы их на бумагу вновь заносили? – озадаченно спросил Лашин.

– Да так, для себя, чтобы не забыть.

– Это вы бросьте! Опять антисоветской деятельностью занялись!

– Гражданин начальник, вы же человек грамотный, историю знаете.

– Конечно, знаю, – подтвердил майор.

– Ну вот, стало быть, вы должны соображать, что никакой я

антисоветской деятельностью при всем своем желании заняться не могу, потому как советской власти не было и нет.

– То есть как это нет? – опешил майор.

– Вам же известно, что первые Советы рабочих и матросов, которые отказались подчиняться большевистским указам, были разогнаны, расстреляны. Так что, начиная с восемнадцатого года, все Верховные Советы – сплошная фикция. Что, вы не знаете, как туда назначают?

– А вы что же, за частную собственность? – перешел в наступление Лашин.

– Лично я ни на что особенно не претендую, кроме права на собственное мнение. Но для народа, думаю, эта собственность – не только не помеха, а стимул.

– Что же вы, и кабаре бы у нас завели? – негодовал Лашин.

– Разумеется, разрешил бы, – усмехнулся я, вспоминая наши дорожные сеансы в ложах фургона.

– Значит, вы за проституцию! Вот вы чего хотите! – орал Папа Лашин.

– Очевидно, вы плохо осведомлены в этом вопросе, – заметил я уже устало. – Кабаре – это там, где танцуют. А там, где ебутся, – это бардак.

Майор Лашин убрался посрамленным. Макар ликовал:

– Ну ты и подловил его на этом кабаре! Тоже мне, начальник по политической части, а где что происходит, толком не знает!

* * *

Часа через два вывели под конвоем в санчасть, дело для карцерного режима невиданное. Лев Семенович плотно прикрыл дверь:

– Я вот о вас хлопочу, а вы все режим нарушаете, – укоризненно качал он головой. – Вам что, плохо?

Я был действительно больше похож на собственную тень, чем на самого себя.

– Сделайте какой-нибудь укол, – попросил я.

– Ни черта здесь нет, в их аптеке, кроме морфия, и тот, наверное, весь на себя этот идиот-фельдшер извел! – негодовал Лев Семенович.

Морфий, однако, нашелся… Бешеное головокружение прекратилось.

– Слушайте, Делоне, – сказал вольный врач, – у меня всего один шанс серьезно вам помочь. Я могу без особой натяжки поставить вам диагноз – острое расстройство нервной системы.

– Вот уж этого, Бога ради, не надо, – сказал я.

– Вы что же, всех психиатров считаете шарлатанами и тюремщиками? – усмехнулся врач.

– Да нет, не всех. Однако я из института судебно-медицинской экспертизы имени Сербского еле вырвался, и то, знаете, только благодаря Наполеону.

– Как так Наполеону, что вы сочиняете? – изумился врач. – На вас что, морфий плохо действует?

– Напротив, очень даже хорошо действует, и Наполеон очень даже при чем. Направили меня в этот институт на предмет выяснения, в своем я уме или не в своем. Бросили в палату, лежит рядом какой-то тип и молчит, на меня уставившись. День молчит, другой молчит и не спит. Я стал выяснять, кто такой. Сокамерники, то есть соседи по палате, разъяснили – профессия, мол, интеллигентная, джазист, придушил подушкой проститутку, которая ему отдаться отказалась по неизвестной причине. Он потом труп ее пилой разрезал на куски и разбрасывал по разным местам столицы. Его все же поймали… Вот он и лежал, уставившись на меня, и не спал, а только глаза таращил. Через десять дней я понял, что мне конец. Я ведь тоже заснуть не мог, войдите в мое положение. Просил у всех врачей перевода в другую палату – отказали. Бывалые люди объяснили, что, видимо, ему установка дана таким путем меня извести, дабы мой диагноз соответствовал истине. А за это врачи готовы были его втихую защитить. Один многосрочник-рецидивист все рвался меня отстоять. Мне вообще везет в дружбе с рецидивистами, с теми, у которых срока ни убавить ни прибавить. Им все равно, они вроде, как и я, живут вне времени. Рецидивист был татарин, звали его Айшур. Он говорил:

– Я эту дрянь, которая тебя изводит, политик, тихонько в туалете придушу, как он свою красотку прихлопнул. Мне все равно – либо решат расстрелять, либо нет. Да и ему все равно, тоже, наверное, расстреляют, как он ни старается тебя до полной невменяемости довести.

– Айшур, – просил я его, – это не нам с тобой решать, кому жить, а кому нет. Может быть, он и вправду подвинулся мозгами, может, он и ни при чем. Врачи его рядом со мной держат, а он и не понимает, что делает. Может, он так, все вспоминает, как девочку ножовкой резал, мучится.

– Ну, это твое дело, – говорил Айшур, – только долго не спать – плохо.

Сосед мой молчал и смотрел на меня. Он не отвечал даже на вопросы нянечек и сестер. Нянечки ночью выпускали меня в туалет и приносили сигареты. Я отдыхал, прислонившись к

залитой мочой и блевотиной стенке… Вызвал, наконец, врач. Ничего хорошего я, разумеется, не ждал, а он меня ни с того ни с сего спрашивает:

– Откуда у вас такая странная фамилия? Вы что, француз?

– Как вам сказать, никто же из нас с достоверностью не может знать, кто он, собственно говоря, грек, еврей или татарин. Впрочем, можно и французом зачислить. Предок мой был комендантом Бастилии. Брали эту Бастилию, и в порыве революционного энтузиазма отрубили ему голову. И зачем же было голову его на пику водружать и по всему Парижу носить! Это ж, согласитесь, хамство и низость! А племянник коменданта был врачом в гвардии Наполеона, его забрали в плен под Бородино…

– Так это тот знаменитый врач? – вытаращился на меня эксперт по вопросу равновесия моей души.

– Тот самый, – говорю, – а что?

– Да я же про него в энциклопедии читал – остался в России, женился на бедной дворянке. У вас поместий в роду не было?

– Нет.

– А психических заболеваний?

– Тоже никто не отмечал.

Эксперт подумал:

– А вы-то себя как считаете, больным или здоровым?

– Видите ли, – заметил я тактично, – в отличие от своих предков я – не медик. Это уж вам судить, я в этой области не профессионал.

Врач был польщен моим ответом. Джазиста убрали из моей палаты, а потом приговорили к расстрелу. Не то он больше не нужен был для дела моего разоблачения, не то просто сочли, что он косит, то есть притворяется сумасшедшим. Меня признали вменяемым, хотя и со склонностью к экзальтации и психопатии на почве творчества. Так что, видите ли, и Наполеон пригодился… Но только не всегда же можно Наполеоном отговориться от инъекций нейролептиков. Так что прошу вас – никаких диагнозов…

– Что же, вы полагаете, – растерянно спросил Лев Семенович, – что я, как врач, ничем не могу вам помочь?

– Вот что я вам скажу, доктор, – при нашей системе даже глубоко порядочный человек и профессионал не может спасти человека, о котором он печется… Это для меня и чудовищно… Вы же сексопатолог, доктор, ездите вот даже по лагерям, навещаете тех, кто ежели и причинил зло, то не по программе, а если сделал кому добро, то не по расчету. Я могу обогатить ваш сборник умозаключений на предмет сексуальной несдержанности. Еще

когда в первый раз я попал в известную Лефортовскую тюрьму, то есть в ту тюрьму, откуда уходят только на этапы, и, причем, весьма длинные, начальником этого призывного пункта был полковник Петренко. Кроме прочих своих мерзостей, он отчего-то очень гордился тем, что в кровавые сталинские годы работал следователем, а в наши дни якобы разоблачил шпиона Пеньковского. Но уж больно быстро и втихаря этого Пеньковского расстреляли. Уж больно гордились, что, дескать, нашли и приговорили к самой наилучшей мере наказания. Да и раскаяний его нигде не публиковали, хотя, как Вы знаете, у нас непременно чтоб раскаяние было. А то как же без раскаяния расстреливать, как-то неловко… Впрочем, я не о Пеньковском. Полковник Петренко смог «раскрыть» знаменитого шпиона Пеньковского, но он не мог понять, как я его надул. Лефортовская тюрьма построена была еще во времена царствования императрицы Екатерины, то есть полковник никак не имел к ее постройке никакого отношения, зато он знал каждый уголок. Однако любовь есть любовь… Странное это дело – женщины могут вынести в жизни куда больше, чем мужчины. На воле они куда легче переносят лишения, тяготы, одиночество. Но тюрьма для многих женщин – хуже смерти. Не знаю, в чем тут дело. То ли в том, что подлая невозможность причесаться и умыться сводит с ума женщину куда больше, чем мужчину. Или в том, что лишение элементарной человеческой теплоты для нее – ужас. То ли еще в чем-то, но только иные женщины в тюрьме дуреют. У меня в соседней камере сидели две красотки, и обе за дружбу народов. У нас эта самая дружба весьма как-то странно понимается, то требуют у народа, чтобы денежки на дружбу выкладывал, то танки вводят… Но девочки сидели и вправду за дружбу, точнее – за любовь. Обе работали продавщицами, у обеих были женихи – арабы из Египта. Женихи их просили доллары не один к одному рублю менять, а повыгодней. Ну они и меняли. Каждый знает, что доллар – он и есть доллар, а рубль вообще ничего не стоит.

Сначала с этими красотками мне было сложно перестукиваться – через каждые две минуты в Лефортове открывается глазок в камеру, много не оттелеграфируешь. Вскоре я обучил их «бестужевской системе». Бестужев, если помните, был известным декабристом, сторонником свержения царя и поклонником французской республики. Он исхитрился математическим путем установить такой код, который, по крайней мере в тюрьме, имеет для многих куда большее значение, чем сочинения Паскаля. Я долго думал, как я могу переплюнуть этого Бестужева, и все же сообразил. Кружки нам выдавали, я разъяснил моим красоткам – прижмите кружку

донышком к уху, а бортами к стене в том месте, куда я постучу. Я тоже прижимаю свою кружку и начинаю говорить, как в микрофон. Никакая трехметровой толщины стена – не помеха, хотя и строили ее в добрые царские времена. Впрочем, я потом узнал, что изобрел велосипед и давно этим методом пользовались. Но смутило меня то, что последовало за моим «новшеством» – одна из моих соседок, ее звали Леной, умоляла: «Ну скажи, как ты меня можешь удовлетворить, умоляю, в подробностях, все равно скоро не выйду, а когда выйду, самый последний алкаш – и тот на меня не взглянет. Ты можешь попробовать меня увидеть. Я молю тебя об этом». Я сказал, что попробую. Я никогда не был способен к сексуальным извращениям, а тем более к их изложению в «литературной» форме, но обстоятельства обязывали. Я нагородил этой Лене такого, что самый изощренный прелюбодей не придумает. Но оставалось другое, что меня тревожило – Лена просила, чтобы я ее увидел такой, как она есть сейчас, а не такой, как станет. Эта задача казалась невыполнимой. В Лефортовской следственной тюрьме никто никого не видит, кроме своего сокамерника, который всегда стукач, или надзирателей. На прогулку выводят покамерно, загоняют во дворик – четыре на восемь метров, а по крыше ходит охранник, никого увидеть нельзя. Но погрешность техники всегда существует, когда технику применяют для искоренения человеческой души. Я быстро заметил, что существует небольшой квадратик, забитый деревянной затычкой. Квадратик существовал только для одного – для стока талого снега. Я точно рассчитал и разъяснил через старинную стену Лене: «Когда окажешься на прогулке, спой что-нибудь из Высоцкого. А потом, когда тебя будут выводить, иди ближе к стенке и остановись. Я тебе дам знак». Идея моя имела блистательное оформление. Лена хорошо поставленным голосом пропела:

Не дают мне больше интересных книжек,
И моя гитара без струны,

И нельзя мне выше, можно только ниже…
Можно только неба кусок, можно только сны…

Ее выводили из прогулочной камеры под предлогом недозволенного поведения. Я быстро выбил деревяшку из окошечка для очистки тюремного дворика от снега и кинул хлебный мякиш через трехметровую стену. Охранник ринулся смот реть, что я бросил. Я упал на цементный пол. Лена

прижалась к стене и сделала вид, что у нее расстегнулась юбка…

Мой адрес и телефон отобрал у Лены полковник Петренко. Он ворвался в мою камеру несколько взбудораженный: «Вы что это тут, еще и переписку намерились затеять!» – «Гражданин начальник, в тюрьме пресекать переписку – это уж ваша задача. Как попал мой бывший адрес и телефон в руки прекрасной Елены, я вам сказать отказываюсь. И поверьте мне на слово – я даже знаю во всех тонкостях и тонах и лицо ее, и белье. Вы полагаете, что это только ваша привилегия – разглядывать лица и белье дам, случайно попавших под карающую десницу наших светлых органов?» – «В моей тюрьме никого, кроме своего сокамерника, видеть невозможно», – недоумевал Петренко. Полковник не применил никаких карательных санкций, кроме лишения ларька… На следующий день мне отстучала в стенку Лена: «Мы выбросили колбасу в окно. Скажите, что из вашей камеры упала». – «Да на черта мне ваша колбаса!» – возмущался я. – «Мы ее все равно назад не возьмем. Тебя ларька лишили из-за меня, я знаю», – настаивала Лена. – «Не пропадать же добру», – заметил мой сокамерник и тут же принялся колотить в дверь и орать, что колбаса, мол, на окошечке лежала и упала. Все это происходило еще в шестьдесят седьмом году. Мне было девятнадцать лет. Прошло немногим больше года, привозят опять меня в Лефортовский централ, конвой начинает меня раздевать и орать как можно громче. Я им говорю: «Что, не узнали?» – «Так ты тот самый поэт!» Спрашиваю у одного из охранников, где Лена. «Какая еще Лена?» – не понимает. – «Ну валюту ей приписали, парень у нее был из арабских студентов». – «Много тут таких сидит!» – отвечает. А я все выпытываю: «Ну как же не помнишь! Белье у нее такое синенькое, в кружевах». Белье он вспомнил, поскольку по порядку каждые две минуты в глазок заглядывал, сразу сообразил: «Знаю, о ком говоришь, поэт. Ей двенадцать лет дали, а араба продержали месяц и освободили».

Завели меня в камеру. Нагрянул сам полковник Петренко. «Так, Делоне, теперь вам никакого спуску не будет! Опять к нам пожаловали! Мы братскую помощь Чехословакии оказываем, а вы опять со своей антисоветской мазней вылезаете!» Я ему говорю: «У вас в прошлый раз ко мне вопрос был насчет того, как я девушку Лену разглядеть ухитрился. Так у меня сейчас к вам встречный вопрос имеется: что это за дружба народов, если вы арабского студента выпустили, а девчонке двенадцать лет всучили! Угробили». Полковник Петренко захлопнул дверь моей камеры и больше с нравоучениями не приставал. Я думаю, ему самому от этой истории с Леной весьма тошно стало, по крайней мере, он перестал донимать меня вопросами, как я организовал

свидание там, где свиданий нет и никогда не положено. А может, полковник Петренко был просто расистом, что не исключено… Вот и вся история, доктор, касательно сексопатологии. Вот и вся любовь, как говорится…

Доктор был растерян. Когда меня выпроваживали назад в карцер, он торжественно заявил: «Я добьюсь облегчения вашей участи!»

– Чего это тебя к врачуге-то дергали? – спросил Макар, когда я был водворен в карцер.

– А так, – говорю, – про сексопатологию беседовали.

– Это что, про педерастов? – спросил Макар.

– Да нет, не совсем. А ты что, кроме педерастов, никого не пробовал?

– Была одна, – вздохнул Макар, – да так, и вспомнить нечего. Ты же знаешь, мне шестнадцать лет было, когда стрельбу эту около нашего оврага затеяли…

Срок карцера мне не сократили, но и не продлили. Что может хотеть заключенный, вышедший из карцера, только одного – закурить по-человечески. Вышедшему из карцера в куреве никто не отказывает. Я закурил и от одной затяжки потерял сознание. Потом тащили в барак на руках, потом лейтенант Лиза велел зайти в его кабинет, когда я приду в себя. В себя я пришел и к лейтенанту явился.

– Это не я на вас донес, – объявил Лиза, – я за стихи не доношу, я сам стихи люблю.

– Ну, а если не за стихи, то как, доносите? – возразил я.

– Обратно в карцер захотели! – орал Лиза. – Могу устроить!

– Устраивайте! – сказал я ему.

– Посылка тут вам положена, – сообщил Лиза.

– Какая еще посылка? – изумился я. – Меня давно всего лишили.

– Говорю, положена, значит, положена. Только быстрей запрашивайте, чтобы прислали.

* * *

Мне повторять два раза не надо было, друзьям моим – тоже. Я попросил растворимого кофе на все положенные пять килограмм. Этот продукт и в Москве добывают разными сложными путями, не говоря уж о Сибири. Посылка пришла в срок. Меня вызвали на вахту.

– Тут вам что-то незаконное прислали, Делоне, – объявил мне дежурный офицер. – «Нескафе» написано.

– Ничего незаконного, – возразил я, – про чай записано, что не положено, а про кофе ничего подобного. Любой дипломат этот напиток с утра до ночи хлещет.

– И не травятся? – спросил офицер.

– Да как-то не все. А вы попробуйте. А то что же это, одну самогонку каждый день глотать. Презентую лично для вас две банки.

Возможность приобщиться к «дипломатам» совсем сразила офицера.

– Ладно, давай две банки и катись отсюда.

Я, естественно, покатился… Блатные были ошарашены.

– Что это за подогрев ты приволок, политик? Что с этим делают?

– Берут столовую ложку на полкружки кипятку и размешивают, – разъяснил я.

Покоя у меня и до того не было, но тут уж и вовсе не стало. Всем хотелось хоть разок, да попробовать. У некоторых напиток даже вызывал смутное раскаяние. «Да, – говорил один из окружения Конопатого, – вчера за две ложки чая паренька порезали, а ты тут кофе какое-то раздаешь, вроде как не хуже, и без крови».

Без крови все же не обошлось. И все через мою чрезмерную расточительность и благотворительность. Я раздавал этот проклятый кофе направо и налево. Подходили и блатные, и бригадиры выпрашивали. Но я потчевал и мужиков, а это уж было никак не положено. Первым, конечно, взбесился бригадир Лохматый, тот, кто отпустил шевелюру на два сантиметра выше нуля. Он думал, что я отдам ему весь этот кофе, чтобы иметь право отлежаться хоть неделю в штабелях. Я презентовал ему всего две ложки. Зато отдал целую банку одному скромному пареньку Находкину, который сидел за кражу радиодеталей для своей собственной и для друзей своих пользы. Дабы можно было вмонтировать соответствующее устройство для ловли коротких

волн, на которых передают «Голос Америки» и другие иноземные радиостанции. То есть те самые детали, что ни за какие деньги в магазинах не найти. Мы с этим Находкиным долго и помногу разговаривали, что очень раздражало моего соседа по нарам Толика из Тулы. Толик был блатным по призванию. Что-то хитро и ловко крал и попался на очередной краже со взломом. Толик не был человеком серьезно начитанным, но из его смутных высказываний выходило так, что ближе всего он стоит к ницшеанству. Он, безусловно, уважал меня за мою выходку на Красной площади, но презирал Находкина: «Втихаря думал как-то проскочить в интеллигенты! – негодовал Толик. – Вот он наверняка у меня и украл пластмассу, из которой мы наборные ручки для вольняшек мастерим. Мужик и спекулянт!»

Странная во всех отношениях была психология у моих «друзей» блатных. Вооруженный грабеж считался за честь, а какое-нибудь мелкое хищение на работе вызывало презрение.

Лохматый учинил страшную провокацию. Когда мы вернулись с работы, ни остатков моего знаменитого кофе, ни огрызков бригадирского сала в тумбочках не оказалось. Он объявил, что за все отвечу я, то есть отвечу за крысятничество, за самый страшный грех – воровство у своих. Я не подал виду, что страх сжимает мое сердце. Быть убитым по такой причине – несусветный позор. Вскоре в барак явились блатные – они уже успели поговорить с Лешкой Соловьем, и тот повторил, как всегда: «Если тронете политика, рассчитываться буду я». Но бригадиру нужно было как-то отыграться за свой промах…

Лохматый надрывно орал:

– Вот этот, из другого барака, Находкин к нему все время заходит – он, небось, и стащил!

Вызвали Находкина, который, по идее, мог украсть, поскольку работал в зоне лагеря и на наши объекты не выезжал. Столпилась вся компания Конопатого. Намечалось страшное избиение.

– Ни шагу! – сказал я Конопатому.

– Эх, если бы не Соловей, политик, я бы тебе давно красной змейкой горло украсил! – ответил он. – Кстати, вот Толик Тульский говорит, что Находкин его тоже обшарил. Так ли, Толик?

– Так, – подтвердил тот, поскольку уже некуда было отступать.

– Тогда нарушим закон в честь политика. Будешь драться один на один с мужиком? – спросил Конопатый.

Толик кивнул.

– Толик! – крикнул я. – Ты же знаешь, что этот парень – не

крыса!

Но Толик и Находкин уже заходили в умывальную. Я знал, чем это кончится. Толик был блатным, и как и куда нужно бить, он знал с детства. Находкина через десять минут унесли полутрупом. Через три дня его списали из больницы. Он подошел ко мне, харкая кровью.

– Я понимаю тебя, политик. Тебе каждую минуту стараются новое дело пришить, а мне нет. И все было по лагерному закону… Но как же так! Ты же никогда не жил по коммунистическим законам, как же ты смирился с законом блатных! Я не знаю, что ты мог сделать, но смириться ты с этим не должен был… Впрочем, если окажусь тебе полезным, я всегда к твоим услугам. Хотя и не считаю, что есть люди выше сортом, а есть ниже. Не думаю, что надо лелеять лидера нации, движения или культуры – за счет других. Каждая жизнь равноценна…

В моей кромешной лагерной жизни не было дня страшнее… Впрочем, вместо мучительного «ты отсюда никогда не выйдешь», стало стучать в висках страшное – «я больше никогда от себя не отступлюсь, делайте что хотите».

Вечером я зашел в барак к Лехе Соловью.

– Леха, почему ты не пришел на эти разборы? – спросил я. – Плохо мы поступили с этим пацаном, с Находкиным. На нем же за меня и за мою дружбу с тобой отыгрались…

– Политик, – сказал Соловей, глядя в стену, – ты же знаешь, я не могу нарушать закона блатных ради мужика. Я могу их ставить на место только, когда знаю, что закон на моей стороне… Скажи спасибо, что тебя не убили. В этот день Арзамасский и Гешка были в изоляторе, я остался на зоне один и мог спасти только тебя. Но ничего, не волнуйся, придет время – обо всем поговорим с ними…

* * *

Полученные мною с воли книги произвели неожиданное впечатление. Блатным очень понравился Шекспир. Гамлет, правда, не совсем. «Тоже он, все на придурка косил, на шизика! – говорили блатные. – Быть или не быть! Надо было сразу мочить короля, а то ходил, ходил, вот и доигрался! Не сумел толком за папаню постоять».

Но вот Отелло очень понравился. Блатные переживали: «Что же это, из-за бабы с собой покончил! Такой человек, генерал! Во какую подлянку ему подстроили с платком этим! Хуже всяких ментов Яго выдумал!» – «Баб вообще убивать постыдно». – сказал

я. – «Как так? Ты что, политик, а ежели изменяет?» – «Ежели изменяет, тогда тем более. Поскольку, ежели ты за это бабу убил, ты только себя унизил. Показал, что для тебя это самое – ну постельные игры, – важнее всего». – «Ну, а мужика, с которым баба твоя переспит? С мужиком что делать?» – «Да знаете, ребята, ничего не делать. Ежели его изуродовать, то получается, что ты его выше себя ставишь и потерпеть такого не можешь. А коли себя выше его считаешь, то пускай баба к нему и убирается, ей же хуже». – «Странно это ты рассудил, – недоумевали блатные, – вроде бы очень складно. А у нас в Сибири, даже не среди блатных, если баба куда на сторону сходила, так непременно положено каждый день бить, по крайней мере. Это ты по какому закону такие правила вычитал?» – «По закону собственного достоинства», – ответил я.

Ответ показался многим внушительным, и начались междоусобные споры: прав или не прав политик, и в каком конкретном случае как надлежит поступать… Соловей прислушивался к «дискуссии» молча, потом по обыкновению отвел меня в сторону.

– На хрена ты на них столько времени тратишь, политик!

– Люди все-таки…

– Люди-то, конечно, среди них попадаются, но вот я как раз из-за их идиотских представлений о том, что баба – не человек и что никакое оскорбление от нее непереносимо и неизвинительно, – я вот за это и сижу. Ты знаешь, какая у меня статья.

Статья у Лехи Соловья была сто вторая, то есть убийство. Но я никогда его не спрашивал, что, собственно, за убийство.

– Видишь ли, политик, я, конечно, и без этого дела сел бы. Не за одно, так за другое. Мать – пьяница, уборщицей в столовой как работала, так и работает, одна комната в бараке. А я кто – шпана. Правда, среди шпаны считался грамотным. Все, что удавалось найти, читал и запоминал. Боксом увлекался, даже почти не пил. Ну собирались вокруг танцплощадки, промышляли, чем могли. Меня всегда на сходки приглашали за начитанность и твердый удар. Однажды после удачной вылазки всю ночь пили и с утра добавили. Вышли из квартиры всей компанией. Идет девчонка – из тех, у кого родители в партбоссах числятся.

В какой-то тряпке, из Москвы привезенной. Вся расчесанная и напомаженная. Подходит к ней мой дружок Колька и говорит: «Нами вы, наверное, гребуете?» – хотя мы все выглядели по сибирским меркам, как джентльмены. Она развернулась и со всей силы по лицу ему. «Что же это, Леха, с нашими так поступают! – начали меня подзуживать. – Иди, поговори, ты культурный!» Я

вышел вперед и говорю: «Извините, пожалуйста, мой товарищ чуть пьян, и это нехорошо, но зачем же сразу по лицу бить?» Она размахнулась и ударила меня. Я не помню, что случилось дальше, помню только ехидные взгляды всей компании, помню, что хотел ударить и не смог. Достал финку, зажал ее на полсантиметра и полоснул – держи, мол, отметку на память. Вокруг народу было много, но нашей компании побаивались. А она, очумев, побежала в какой-то подъезд и там упала на лестнице. И никто не помог, понимаешь, никто! Она четыре часа пролежала, а потом умерла. На следствии говорили, что если бы сразу помощь оказать, то через две недели только бы шрам остался. Да и нас бы не взяли, конечно, если бы отец ее не был крупным партийцем, побоялись бы сообщить свидетели. Но все же загнали всю компанию в тюрьму как подозреваемых. Следовательница была молоденькая такая женщина, лет тридцати. Доказать ничего нельзя было. Никто из посторонних показаний не давал то ли из страха, то ли просто не хотел. Ну а с нас – что возьмешь… Она меня чаще других вызывала, уповая на мою грамотность и призывая к сознательности. «Я знаю, – говорила она мне, – это не вы убили. И удар какой-то странный, как бы только порез. Если бы не пришелся он в определенную точку, если бы эта девочка не лежала четыре часа на лестнице – в общем, масса совпадений, – то и ничего страшного не получилось бы. Но ведь с кем вы связались! Эти ваши друзья и вправду резать скоро начнут! И отчего именно дочку партийного деятеля? Я понимаю – вы живете в невыносимых условиях, но так же нельзя все-таки!» Мне все представлялось, как лежит эта девочка и никто к ней не подходит… Я заявил, что убил якобы из ревности, что друзья мои ни при чем. И заодно взял на себя все наши прошлые художества. Следовательница мне не поверила, но так и пришлось представить ей дело на суд. Мне было тогда шестнадцать лет, и расстрелять меня не могли, хотя отец пострадавшей и настаивал на расстреле… У нас с этой следовательницей даже любовь началась, правда, платоническая. Она мне в колонию для малолеток такие письма писала, что все тамошние цензоры зачитывались, все веру в будущее вселяла. Потом сообщила, что выходит замуж и писать больше не может… Как говорится – не все ли равно, за что сидишь, если срок идет. Но мне не все равно. Я каждую ночь не сплю. Я только так, с виду, сдержанный. Если бы я знал, что я сделал, я бы девочку из этого проклятого подъезда вытащил и на руках куда угодно донес, сразу же сдался бы! А то ведь сил моих нет! Я и лица ее толком не помню, только руку, руку, которой она меня ударила. Я еще остановил тогда руку и тупо разглядывал… Вот тебе и весь Отелло… Ты знаешь,

политик, я был местным королем блатных. Тоже пришлось, не от желания красиво жить в лагере. Просто донимали суки-активисты, и я всегда поднимался первым. – Лешка закашлялся. – Но теперь хватит с меня. Пусть сами разбираются, а то вроде все благородные, а над другими издеваются! Давай, политик, лучше по глотку чая. А ты-то, кстати, – усмехнулся он, – не боишься заразиться? Барак-то здесь туберкулезный. Вон видишь, шнырь миски выносит – кашки поедят, а кусками кровавых бронхов возвращают.

– Эх, Леха! Чего мне бояться! Все вредно. Жить вообще вредно. Лучше скажи, как ты в туберкулезники попал, как-никак сибиряк, да не из слабых?

– А это, политик, – разъяснил Леха, – так, за любовь…

– То есть как?! – изумился я. – Что девушки от чахотки из-за любви сгорали, я слышал, и то это только в прошлом веке было. Но чтобы короли блатных – как-то нет!

– Да понимаешь, политик, все, как всегда, началось из-за драки. Чем резче бьешь, тем круче гнут… Доставили меня в больницу – активисты здорово надо мной поработали. Врачиха была там, Анной Петровной звали, ей уж было лет за сорок, но миловидная такая. Долго она меня выхаживала, ну а потом такая любовь началась, что никак не развяжешься. Она мне еду таскала, курево, а потом в кабинете с ней запирались. Охрана, конечно, знала, но помалкивала – больно уж изуродованным меня привезли, жалели. У нас всегда так – сперва натворят невесть чего, а потом жалеют. У врачихи у моей был муж, так она не смогла спать с ним больше – до развода дело дошло. А меня тем временем назад на зону отвезли. Как я ни крутился, что ни придумывал только, чтобы попать снова на больничку, ничего не проходило. Ну я и задумал мастырку, то есть чтобы сам себя потравить малость, и так, чтобы никто не подкопался. Но перестарался – как видишь, и правда открытый процесс туберкулеза заработал, – беспечно рассмеялся Леха.

– Ну а с врачихой что?

– Сняли с работы, разоблачили нас, понимаешь. Поймали на месте преступления. В какую-то глухомань ее загнали. Сначала писала, а теперь нет.

– Ну а что с туберкулезом?

– С туберкулезом плохо дело, лекаря говорят, а как оно на самом деле, я не знаю… А у тебя бабы из врачих были? – спросил Соловей.

– Да я как-то не делил их по профессиональным категориям. Впрочем, была одна история. Из-за приятеля в любовь ввязался. В шестьдесят шестом году наладились за мной кагебешники

следить, хотели выставить из института. Ну я и решил мастырку сделать, пойти путем обмана, да подзалетел. Прихожу к врачу, говорю – «нервное переутомление, бессонница». Врач дал справку, что нуждаюсь в академическом отпуске. Я с этой справкой в институт, а меня из института сразу же под конвоем к главному психиатру Москвы, а оттуда в психушку. Правда, общего типа психушка, но тоже веселого мало. Я из приемной отзвонил друзьям, так меня сразу же за эти звонки в беспокойное отделение. Сначала думал – совсем пропал, шизофреники не спят ни днем, ни ночью… Потом огляделся. Двое так себе, вроде бы понормальней. Один писателем оказался детским, другой валютчиком. Писатель сидел за пьянку, мать его, старая большевичка, каждый раз, как в санаторий ложилась, писала на него доносы, что, дескать, белая горячка, чтобы он в ее отсутствие из имущества чего не пропил. Вот и сидел он в психушке по маманиным наветам. Другой, валютчик, косил, прикидывался больным, содеянного, мол, не помню. Его в отместку кололи, каждый день по два раза, совсем дошел. А куда денешься, статья серьезная, вплоть до расстрела, а меньше семи лет никому не дают. Я сразу предложил выпускать стенгазету – «Психовать, так психовать!» называлась, и подзаголовок: «Шизофреники всех стран, объединяйтесь!» Миша-валютчик рисовал карикатуры, писатель Арсений писал фельетоны, а я – стихи и передовицы… Каждый день перед обходом врачей кому-нибудь из шизофреников подсовывали, чтобы он незаметно вывесил. Врачи только руками разводили, но Мишку кололи. Была у нас старшая сестра Даша, она эти уколы и делала. Даша как Даша. Я ей стихи читал. Чувствую, действуют на нее стихи. Началась у нас любовь, как у тебя с твоей врачихой, Леха. Прятались в процедурном кабинете. Мне-то, собственно, эта Даша так, ни к чему была, но нейролептики Мишке она вкалывать перестала, то есть делала только вид, что вкалывает. Когда Мишка в первый раз был пощажен, он бросился ко мне и говорит: «Вот это да, поэт! А я до сих пор в любовь не верил!» Через три недели поднялся шум в мою защиту и меня выпустили с каким-то идиотским диагнозом, чудом вырвался.

Историю про Дашу Соловей выслушал с полным пониманием и грустно усмехнулся:

– Выходит, ты, политик, так сказать, за счет любви и стихов товарища от истязания спас, а я погорел, только туберкулез заработал. Бывает и хуже, но реже. Не повезет – так и на родной сестре триппер подцепишь! Теперь уж не знаю, доживу ли до женской ласки?

– Может, сейчас? – я хотел сказать, пока не поздно, но

поперхнулся. – Может, сейчас, Леха, попробуем. На тебя же любая баба кинется.

– Так-то так, – ответил Леха, – но только я ведь не сухой онанист, что мне эти письма в рассрочку! Ты же знаешь, в бараке ни один блатной дрочить не станет. Да и если мужиков за это бьют, тоже правильно – нельзя других толкать на эти мысли постоянно. Это как с хлебом – если думаешь все время об этом, значит – пропал. Ну вот ты пишешь стихи и письма для заочниц от наших ребят… Но это все так – им только для сна, чтобы во сне что-нибудь привиделось. Когда во сне матрасовочку чуть-чуть разрисуешь – не страшно, это все понимают. Что там этот твой, как его, Гамлет, про сны сказал? Никак не могу запомнить.

– Гамлет? – сначала не понял я. – Ах да, Гамлет: «Вот и вопрос, какие сны в том смертном сне приснятся?»

– Вот-вот, – уверенно и спокойно заметил Соловей, – это он верно брякнул, у нас здесь смертный сон… Так что ты пиши эти письма, только не для меня. Ни одну бабу ко мне не пустят, даже если она законным браком со мной пожелает зарегистрироваться.

– Погоди, Соловей, ну поклонницы все же у тебя есть и сейчас?

– Есть одна, Валей зовут, – нехотя процедил Леха, – нас на строительную зону загоняют, а у них общежитие напротив. Все записки шлет, но что толку. Вот даже фотомордочку через конвой передала.

Он показал фотографию.

– А сможешь, – спросил я, – устроить так, чтобы она пришла на объект, на рабочую зону тайно?

– Да какая баба придет, даже если все устроить, за колючую проволоку! Ведь дело не только в том, что срок навесить могут за такую вылазку. Тут, политик, другая лажа.

Она знает, что нас на рабочем объекте 200 рыл. Согласись, 200 – для любой бабы многовато. А то, что один я с ней буду и с товарищами не поделюсь, – ее же не убедишь. Хоть я, конечно, к ней и на полшага приблизиться никому бы не дал, так ведь не поверит!

– Слушай, Соловей, что мы тут тесты раскидываем – верит-не верит, любит-не любит? Я и сам не большой любитель уговаривать прекрасных дам – не хочет, не надо. Но тут – случай особый, можно попробовать все оформить в лучших традициях эпистолярного жанра.

– В каком смысле эпистолярного? – покосился на меня Леха.

– Ну, в общем, – уболтать, мозги запудрить. Это уж моя забота. Твое дело – техника проникновения прекрасной дамы в запретную зону и жгучие взгляды через колючую проволоку.

Какие у тебя о ней данные, кроме фотографии?

Данные у Соловья были довольно полные, что меня не удивило. Ни один из вольняшек не мог отказать ему в услуге – либо боялись, либо уважали. Девочка из многодетной семьи, отца нет, отчим – пьянь, мать тоже. Когда-то занималась рисованием, ходила в кружок изоискусств, потом, ввязавшись в драку с финкой в руках на стороне «своих» мальчиков на танцплощадке, попала в малолетнюю колонию, сидела всего год, о Соловье слыхала от многих освободившихся.

Все, кроме рисования, было, что называется, не в масть. Это только так кажется или пишется, что свой своих понимает. В лагерях для малолеток нет своих. Ясно, что не только в романтику трудовых будней, но и в романтику блатного мира моя будущая корреспондентка больше не верит. Дети дичают, когда их загоняют в стадо, а когда у них отбирают свободу, они готовы мстить кому угодно, и за неимением возможности отомстить тем, кто свободу у них отобрал, отыгрываются на ближнем, выдумывают такие извращения, до которых и матерый рецидивист не додумается. Лишь бы выделиться, сорвать злость. И хотя о Соловье шла слава, как о путном, справедливом из блатных, никак Валя не могла поверить ему на слово, что над ней не надругаются, что Соловей не поделится ее телом со своими кентами…

– Слушай, – сказал я Соловью, – ты готовь плацдарм, укрытие для встречи, посылай воздушные поцелуи, ну и заодно отправь вон конвертик через шоферов на волю.

– А что это там?

– Ничего особенного, так, просьба к искусствоведам из Москвы о подарке для твоей Вали.

– К искусствоведам, – протянул Соловей, – ну это дело серьезное, это мы враз устроим.

В письме я просил одну хорошую знакомую, которой искусствоведением давно не дозволяли заниматься за оказание неотложной помощи таким идиотам, как я, – просил о том, чтобы достала альбом французских импрессионистов и послала страждущей девушке в Сибирь.

Через две недели Соловей вызвал меня в барак и молча протянул письмо от Вали: «Дорогой Леша, Вы не представляете, каково было для меня получить такую книгу из самой Москвы, да еще от искусствоведа. Я зашла в свой бывший изокружок, куда давно не приходила – работа донимает и хозяйство. Так мой преподаватель только ахал, сказал, что такого и в Москве нет, а он там бывал. Кто туда ездит, говорит, ну иногда колбасу привозят, ну иногда – кое-что из заграничной одежды, но чтобы

такое – никогда не случалось! Теперь у меня одна забота, как бы книгу спрятать, потому – в общежитии утащат. Я уж не знаю, что Вам написать еще в благодарность. Вы передо мной выходите таким шикарным кавалером, каких у нас в Тюмени и среди заезжих инженеров днем с огнем не сыщешь…»

Мы, как всегда, отсчитывая глотки, цедили чифир в узком кругу.

– Мне прочесть можно? – безразлично спросил Гешка Безымянов.

– Это ты у поэта спроси, это его касается, его фокусы! – добродушно рассмеялся Соловей.

Я протянул письмо Гешке. Он долго вчитывался, лицо его оставалось безразличным, и только губы иногда вздрагивали, как бы преграждая путь вздоху, рвущемуся изнутри…

– Лихо, политик, ты устроил, – сказал он. – А ты-то, Леха, знаешь, что такое искусствовед? – спросил Гешка, чуть усмехаясь.

– Ты же грамотный, Гешка, – презрительно отметил Соловей, – школу кончил, под гитару поэзию исполняешь! Неужели неясно, что ли? Искусствовед – это человек, который ведает у нас всем искусством, один из самых главных, кто этим делом занимается. Ясно же сказано – искусствовед, а ты – кто да что!

Я представил свою знакомую, которая уже давно была вынуждена работать за гроши экскурсоводом и орать полупьяным туристам в мегафон в сонном качающемся автобусе: «Товарищи, мы проезжаем город Владимир, слева – церковь такого-то века, справа – стены такого-то, за ними…» Но тут она осекается, чтобы не потерять последнюю работу, потому как за стенами – штрафная Владимирская тюрьма, в которой полно политических. А может, она и не осекается, а говорит, что за ними – тюрьма…

По крайней мере, я не стал вносить поправки. Мне было приятно, что за такой подарок в далекой Сибири ее сочли заведующей по культуре…

Гешка долго что-то обдумывал, даже от очередного глотка чаю отказался.

– Слушай, Соловей, – наконец заговорил он, – побеседуй с главным нарядчиком, все же хочу попасть на твой объект, и спроси у своей Вали, есть ли на их стройке свободные места, ну чтобы окна общаги на объект выходили.

– Тебе-то вроде еще рано на лагпункт из окна глядеть, – усмехнулся Соловей. – Для кого же тогда, если не секрет? Впрочем, о чем разговор! Чтобы цемент таскать, всегда место есть, особенно для баб. Запиши адресок Вали и передай своей подруге.

Гешка скривился, но молча записал.

«Рыжая, – подумал я, – та, что к рефрижератору подходила! Что же это, Господи! Я там нес всякую околесицу по разным адресам, а теперь выламывайся в разных стилях! Ведь эти, если подружатся, будут друг другу письма зачитывать, и тогда – хана! А может – не Рыжая? Как, собственно, мог ее Гешка найти? По логике – никак». Тайна оставалась тайной, а я впутался в новый роман…

«Валя, – писал я в ответ от лица и души Соловья, – не стану Вас заверять, что я философ, и присваивать себе чьи-либо стихи. Вы, надеюсь, поймете меня и без стихов, хотя искусством я очень интересуюсь. За годы, отсиженные в лагере, было у меня несколько друзей, которые могли бы рассказать Вашим преподавателям о том, о чем они никогда и не слыхали. Попадаются, знаете, в лагерях такие люди, а иногда и чаще, чем на воле. Так вот, друзья не забывают, так что подарком не стесняйтесь. Я мог бы о многом Вам рассказать, не только об импрессионизме, но знаете, лучше при личной встрече. Эпистолярный жанр хорош, когда есть подлинная близость, а как проверить – есть она или нет! Нужна для этого тайная встреча. Ваш Л. С.».

Валя ответила, просила рассказать про неизвестных ей художников и про загадочную встречу. С художниками было просто. Не будучи особым специалистом в области изобразительного искусства, я накрутил всякой отсебятины, впрочем, не переживал, потому как подумал, что если бы мои письма были даже опубликованы, то они бы выглядели шедеврами по сравнению с опусами советских знатоков в области «загнивающей буржуазной культуры» и «декадентства».

Хуже было с тайной встречей. Добро бы еще какой-нибудь Командор на пути Дон Жуана, а тут – советский ВОХР. Идея заключалась в том, что Соловей гарантирует неприкосновенность Вали на рабочем объекте, куда везут заключенных поутру. Ночью объект тоже охраняют, но охраняют его не слишком бдительно вольнонаемные сторожа. И пробраться туда можно. А Соловей все обеспечит. Чем я только не убеждал Валю – судьбой отчаянного Гогена, погибшего на островах от заморской заразы; героями Бальзака и прочих, которые ставили любовь даже выше революции. Но страх, вынесенный из тюрьмы, крепко держал ее…

Леха на своем объекте производил тем временем какие-то фантастические манипуляции. Подкупил вольного мастера, взял в свое распоряжение шестерых надежных мужиков и под видом восстановления треснувшего фундамента соорудил бункер, в котором был устроен столь хитроумный лаз, какой не снился и

миллиардерам, скрывающим свои бриллианты. Отчаянная потаенная работа шла три недели и подходила к концу. Все эти три недели я сразу с работы бросался в туберкулезный барак Соловья и строчил письма Вале, скрываясь от ночных проверок и досмотров. Соловей переписывал мои тексты, аккуратно отмечая в записной книжке незнакомые ему слова, выражения, имена. Я накатал уже писем на два добрых романа. Но Соловей, хотя и почтительно относился к искусству, но не верил ни в его силу, ни в успех предприятия.

– Ну, поэт, закончил я работу над этим, как ты говоришь, пристанищем. Наверное, зря. Впрочем, какая разница, мне кирпича не жалко, да и ребята в моей бригаде отдохнули – никто над ними не стоял. Конечно, про этого Бальзака и Гогена всякая девка почитать не прочь, а рисковать – дур нет.

– Леха, искусство прошло много стадий – мифологию, романтизм, сюрреализм, соцреализм. Я всегда считал, что все это хорошо, но лучше всего – НЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ. У нас есть последний шанс.

Я быстро написал письмо.

«Валя, я понимаю, что мои письма тебе приятны. Но для меня наша переписка становится с каждым днем все тягостней. Могу сказать тебе откровенно, без игры в мученичество, – я болен туберкулезом и не знаю, увидишь ли ты меня свободным. Да и не только в этом дело. Я много раз видел смерть. И лучше многих изучил лагерь. Его закон так же прост, как и жесток. Если ты намерен выкарабкаться раньше назначенного срока, – ты просто подонок, если надеешься и мечтаешь о будущем, то ты – трус, человек сломленный. Чем меньше нелепых надежд в лагере, тем лучше для тебя. Поэтому либо мы встретимся с тобой через три дня, либо можешь считать это письмо последним…»

Далее шло описание, как пробраться на рабочую зону, в подвальное помещение строящегося дома, как нажать на хитроумное устройство, чтобы кирпичная стена отступила.

Кроме прочих талантов, Соловей был филигранным каменщиком, и, когда случалась особо тонкая работа или какая-нибудь неполадка, начальство бросалось к нему за помощью…

Три дня прошли как в бреду. Никогда ни раньше, ни позднее, уже в вольной жизни, я так не убивался из-за «любви». Я был настолько взвинчен, что блатные, не знавшие причины, только сочувственно качали головами:

– Ну ты, парень, совсем поддошел. Оно понятно, лагеря – они не для поэтов, нам попроще, мы к этому с издетства привыкли, – и сочувственно угощали сигареткой.

А я все думал: придет, не придет. Соловей тоже нервничал.

Вечером он вызвал меня за барак и, отводя глаза в сторону, неожиданно спросил:

– А со шпорами что мне делать, политик?

– Как то есть со шпорами? – сначала не понял я.

– Ну что ты, не знаешь?

– Ах да! – наконец сообразил я.

Шпорами у нас называлось некое хитроумное сооружение, за которое шла непрерывная упорная война. Шпоры – это две хорошо отшлифованные самодельные пластмассовые гильзы, которые вшивали под тонкую кожу детородного органа. Ежели у кого-нибудь при детальном обыске или общупывании начальство эти шпоры находило, то их безжалостно вырезали, разумеется, без всякой анестезии и перевязок. Но чаще всего эту операцию производили при освобождении с зоны, если очередной блатной рая не сумел своевременно подкупить конвой. Я всегда недоумевал, зачем на столь болезненное мероприятие идти в лагерной зоне – баб-то все равно нет. Блатные отвечали что-то неопределенное: «На всякий случай… на воле специалистов нет… надо позаботиться, пока время есть». Не пугало их даже то, что на свободу они рисковали выйти с окровавленными и разодранными самыми чувствительными частями тела. Я как-то не сообразил, что у Соловья, как и у всех блатных, должны быть «шпоры», а он отчего-то стеснялся передо мной из-за этого обстоятельства.

– А что, Леха, мешают они тебе, что ли?

– Да нет, – поморщился Соловей, – это только хуевому танцору яйца мешают. Но ведь мы эту хреновину себе в хуй загоняем только для шалав. Сам знаешь, на воле блатной редко бывает, так чтобы помнили. Но одно дело – бляди, а тут вроде как любовь. Ежели все всерьез будет, так это – как бы издевательство с моей стороны. Ведь Валя после этой игры с прицепом по-нормальному уже не сможет, то есть сможет, но не тот расклад, как говорится. Что мне, вырезать их, что ли?

– Знаешь, Леха, – озлился я, – спроси у какого-нибудь сексопатолога, не могу же я все на свете решать. Да и потом, черт ее знает, может, она и вовсе не придет, а ты зря маяться будешь…

Жарким тюменским утром месяца июля нас с Лехой загонял конвой в разные рефрижераторы, я отправлялся таскать шпальный брус, Соловей – на новостройки коммунизма, но думали мы об одном и том же, и у обоих бешено дергалось сердце.

Вечером мою бригаду подвезли и загнали в жилую зону раньше, чем Лехину, пришлось ждать еще с полчаса. Наконец за железными воротами в окружении собак и вертухаев появилась худенькая фигура. Над серой массой лагерных роб, над бритыми

лбами взметнулись две скрещенные ладони в торжественном приветствии. Встретившись, мы долго молчали.

– Не подозревает, что не ты письма писал? – спросил я.

– Не знаю, – ответил Лешка, – на разговоры особенно времени не было.

– Ну а что со шпорами?

– Не жалуется, но я, конечно, потом их напрочь выкорчую. Пока нечасто видеться придется – ничего, а там уж, когда постоянно – нельзя… А ты бы, кстати, политик, написал бы ксиву, теперь адрес есть верный – Валин. Придут с воли деньги – что-нибудь соорудим.

Я написал. Прошел месяц. Леха встречался с Валей раз в неделю. Один день ее чуть было не поймали сторожа секретных строек светлого завтра, но как-то все обошлось.

Денег, однако, не было. Я послал запрос, мне ответили друзья, что деньги были посланы. Я ничего не говорил Соловью, но он сам как-то погрустнел и не находил себе места. Недели через две он не влетел, как обычно, в жилую зону, а зашел как-то вяло и апатично.

– Выпей, – сказал он мне, доставая из сапога резиновую перчатку, наполненную водкой.

Выпили.

– В чем дело? – спросил я.

– Конец любви, – ответил Соловей.

– Что, вольный какой-нибудь ей подвернулся?

– Какой вольный! – отмахнулся Соловей. – На воле – все фраера. Такое редко бывает, чтобы путный и смелый на свободе жил… Не в этом дело. Из принципа сам все порвал.

– Из какого то есть принципа? – спросил я.

– Ты же знаешь, политик, есть закон – у своих воровать нельзя – крысятничество называется, а тут… Ну ты меня пойми, ты мне ничего не говоришь, но я-то знаю, что деньги пошли-поехали, но не доехали. Короче, расколол я сегодня Валю. Отчим, говорит, пьянь, отнял. Сестер и братьев, говорит, семеро. Отчим, конечно, отчимом, и дети детьми, но ведь мы бы сообразили, как ей помочь. Я же ей сказал – деньги придут для моего друга, поэта из Москвы. Жрать, конечно, всем хочется, но ты же здесь в запретной зоне кувыркаешься, как же так!

– Лешка, подожди! – взмолился я. – Там и денег-то всего сто рублей было!

– Дело не в этом, – поморщился Соловей, – деньги, не деньги. Ладно бы еще меня обманула, а то ведь я же ей сказал – для друга. Не видел я этих баб уже сколько лет, и еще четыре года не увижу. Пусть. Я дружбу на любовь не променяю. Хорошо хоть ты

мне подсказал шпоры не вырезать, а то бы совсем дураком оказался – и безоружный, и без любви.

– Ну а она-то что? – я все как-то пытался угомонить его. – Она что говорит?

– Она не говорит, а рыдает, обещается деньги отработать и вернуть. Но я сказал, что незачем суетиться, долги прощаем…

Валя писала еще долго, я эти письма видел. Соловей отвечал на них сам, потом отвечать вовсе перестал…

Как всегда, мы пили чифир в его туберкулезном бараке.

– Слышишь, политик, это тебя касается, – сказал Соловей и протянул мне конверт.

Писала подруга Вали, тоже со стройки, просила простить. Писала, что Валя почти на грани самоубийства, что отчим – мразь, негодяй, что деньги отнял насильно…

– Простим все же, Леха? – спросил я с надеждой.

– Я – не прокурор, пускай прощают те, кому за это деньги идут. У нас тут у самих горя невпроворот. Думала, что лагерник все стерпит, перебьется, раз такой невиданный случай – любовь в тюрьме? Хватит об этом, поэт. Освобожусь, зайду с подарком каким-нибудь, чаю попить…

– Соловей, а что за подруга такая у нее объявилась? – спросил я, что-то смутно соображая.

– Подруга как подруга, тоже известку по стенам раскидывает.

– Рыжая, – уточнил я.

– А ты откуда знаешь? – засмеялся Леха. – Тоже вроде как «твоя»?

– А кто ее знает, – отмахнулся я, – с этой писаниной пойди теперь разберись, кто – чья…

– Да, тоже история, – усмехнулся Леха, – не то чтобы очень странная, но забавная. Когда она в окнах напротив объекта появилась, я сразу понял, что это Гешкины дела. Только где он ее раскопал, – оставалось неясным… Потом один из шоферов передает записку для Безымянова. Сам знаешь, у нас тут шофера свои, как в Кремле. От кого, спрашиваю, записка, хоть знаешь? «Как не знать, – усмехается, – приятель твой, Гешка, всю Тюмень на ноги поднял, ищи, мол, рыжую Люду, на стройке работает. А где ее найдешь! Рыжих полно, строек тоже, ни за какие деньги бы не взялся, но тут, сам знаешь, сидит парень давно, и еще сидеть. Всякий раз думаешь – неровен час, сам в ваш загон попадешь, кто тогда поможет… Две недели после работы по всему городу колесил – нашел! Теперь вот напротив работает, все в окно смотрит. Девки-напарницы все ей завидуют, хоть и сидит, мол, парень, а стихи ей пишет, почитать выпрашивают, лихие, говорят, стихи…»

Леха посмотрел на меня задумчиво:

– Пиши, политик, у меня не получилось, может, Гешке счастье подвалит, масть пойдет…

* * *

Через несколько дней из барака усиленного режима (лагерной тюрьмы) сбежал один из блатных, то есть сбежал – громко сказано. Просто вырвался в обычную лагерную зону. Все недоумевали, – на кой хрен это ему понадобилось? И только я один, может быть, ему сочувствовал. Конечно, БУР – лучше карцера, но и там звереешь от тоски. В отличие от карцера, можно накрыться в сырой камере телогрейкой, курево разрешено, но хватает дня на три – лимит, а достать больше негде, вот и кукуй так полгода. Лагерная зона кажется свободой. Что только ни кажется свободой человеку, загнанному в вонючий угол! Так или иначе, сбежал этот парень из штрафной лагерной тюрьмы и где-то прятался. Искали его около полутора суток, выстраивали каждый час всю двухтысячную зону на очередной просчет, что-то горланили. Все медленно зверели – невыспавшийся конвой, взбаламученные начальники, застывшие в строю зэки. Только Лешка Соловей, Гешка Безымянов и еще несколько ребят не выражали негодования. После очередной переклички Лешка подошел ко мне:

– Видишь эту толпу… «Народ!» А ты за них сидишь! Чуть неудобство им доставили, так они готовы виновника растерзать! Парень-то ведь из штрафного закутка сбежал. Нет, будь, как мы! Сопи в тряпочку! Мразь! Ничего в них нет! Я уж не говорю о мужиках – те только о куске сала думают и как половчей портянки новые раздобыть. Но вон блатные шакалы тоже негодуют. Хоть парень-то вроде как свой, из «воров».

Было уже три часа ночи, когда всех снова согнали на проверку. Лейтенант охраны хрипло выкликал имена. Он никак не мог толком произнести мою фамилию и раньше, но сейчас и вовсе подустал, сбился: «Де… Де, – мямлил он, – ну, короче, ты, антифашист хренов!»

Раздался не смех, а гогот. Ошарашенный лейтенант пытался поправиться: «То есть, это, как его, антисоветчик!» Но никто его не слушал: «Это ты верно, начальник, заметил. Поэт, понятно, антифашист, как иначе. А мы кликуху ему никак придумать не могли. Ну удружил!»

Беглеца из БУРа вскоре поймали. Всех снова выстроили, но никто уже не был рад концу бесконечных просчетов. Надзиратели

потащили беглеца на вахту. Скоро разнеслись слухи, что майор Казаков, начальник лагеря, пивший по такому тревожному случаю сутки, лично бил сапогами беглеца в пах, и бывалые зэки отмечали, что ежели, мол, сам Казаков бил, то уж парень вряд ли выживет. Может, замечали, год протянет, но не больше…

С тех пор и блатные, и мужики обращались ко мне «антифашист», как ни зверело от этого начальство.

Лагерь всегда чем-то напоминал мне разные нелепицы из научно-фантастических рассказов о космосе, холодящие души интеллигентных обывателей. В лагере, как и в космосе, приходится существовать без привычных норм отсчета времени и пространства. Никому в лагерной зоне не придет в голову спросить, который час – засмеют. Да и часов ни на руках нет – запрещено, – ни на фасаде лагерной вахты. Часы на руках и в руках начальства. Никто не спросит, сколько времени прошло. Лишь иногда, робко, сколько осталось… осталось до конца каторжного дня, до конца срока заключения, но и на этот вопрос никто не может толком ответить – после обычных работ загоняют на так называемые общественные, а если воспротивился, могут и лагерный срок продлить. После первого закона лагеря, закона путных и блатных с понятием, – никогда не думать о еде, стоит второй закон – никогда не думать, сколько дней осталось до освобождения. Если считаешь оставшиеся дни, – тебе конец. Многих вызывают к начальству под самый конец срока и уговаривают: «Вам осталось всего месяц, полгода, год, но вот на вас есть досье, прибавят лет пять-семь, дайте показания на таких-то, и все обойдется». Те, кто считал дни, не выдерживали. Так же, как те, кто днем и ночью думал о лишнем черпаке каши. Этой премудрости я обучился и никогда не считал, сколько времени прошло от одного до другого события и прошло ли это время вообще…

* * *

Как-то явился в мой барак гонец от Соловья и попросил поскорее зайти к нему. Я уж было подумал, что Соловей все же внял моим уговорам и решил простить «растратчицу» Валю. Даже стал прикидывать в уме, что он меня попросит сочинить и как бы постараться смягчить его суровый тон и настрой. Всегда жалеешь об утерянной любви, а я жалел воистину вдвойне. Я влетел к Соловью на крыльях еще ненаписанных строк.

– Ну что, опять дела любовные? – стараясь скрыть возбуждение, спросил я.

– Угадал, – Соловей протянул мне кружку чифира. – Только такая «любовь» кой-кому дорого встанет. Впрочем, и мне тоже. Видал я в гробу такую любовь. Ты историю про пацана, которого за твой кофе блатные шакалы разукрасили, помнишь?

Я только дернулся всем своим нутром в ответ.

– А помнишь, – продолжал Соловей, – что я тебе сказал тогда – придет время, сочтемся. Ты Витьку Савичева знаешь?

– Это вроде бы славный парень, – стал припоминать я, – из путных, как ты выражаешься. Это с ним, что ли, несчастье случилось?

Я ясно вспомнил, что произошло. Среди бесконечных, тонущих в махорочном дыму и перебранке лагерных дней бывают такие, которые странным образом вдруг возникают в памяти, как проступает на бумаге переводная картинка, едва напомнит кто-то вскользь об этом дне, часе, минуте. Едва дотронешься, и все как наяву… Это было несколько месяцев назад… Начальство придумало возводить новый корпус завода в промзоне, примыкавшей к зоне жилой. Всех сгоняли на общественную работу ежедневно после обычных работ. Эдакий ежедневный ленинский субботник. Отказавшихся тащили в карцер или внутреннюю тюрьму. Брикеты из цемента, смешанного с камушками, весом по 50 килограмм, указано было делать в жилой зоне (в рабочей не хватало места). И затем вереницей зэки таскали их через всю зону и вахту и по шатким доскам заволакивали на высоту пятого этажа, где возводили здание каменщики. Все начальство и активисты стояли шпалерами, и улизнуть не было никакой возможности. Витька Савичев шел где-то впереди меня по доске с прибитыми ступеньками. То ли у него просто закружилась голова, то ли со злости глотнул слишком много чифира, но его вдруг качнуло, и он рухнул вниз вместе со своей ношей. Каким-то чудом он выжил, оттащили в санчасть, через две недели он пришел в сознание, но собою не владел. Орал, что всех сук и все начальство за издевательство перережет, пусть стреляют, лучше, чем дураком на всю жизнь остаться. Савичева, не дожидаясь поправки, загнали в карцер, а затем во внутреннюю тюрьму. Я отсиживал в карцере очередные десять суток и через коридор слышал его истошные крики: «Бляди! Хлеба дайте! Хлеба хочу! Дайте поесть перед смертью!» Он, как и все долгосрочники из путных, знал, что нужно себя сдерживать, но что-то в нем оборвалось, сдвинулось, и он надрывался: «Суки! Хлеба! Хоть перед смертью!»

– Да, худо парню, – помолчав, сказал я Соловью, – может, кого подкупим, подкинем ему чего-нибудь пожрать?

– Ему уже подкинули, шакалы поганые! – Соловей сжал в

руках кружку чифира, словно старался ее раздавить. – Видишь ли, поэт, Савичев этот совсем сдвинулся, но парень он свой. С головой у него неладно. То дверь в камере ломать пытался, а потом стал у своих, у сокамерников, пайки пиздить. Жует, его бьют, а он говорит: «Все равно помру скоро, бейте!» Так если бы били, оно еще бы куда ни шло, и так весь искалеченный, ни убавишь, ни прибавишь. Да убили бы лучше, а они его опедерастили, скрутили и использовали в задницу. Ты же знаешь, по нашим законам человек после этого не то чтобы не человек, а хуже собаки. И в лагере, и на свободе. Если выйдет – посмешище, пугало. Это хуже смерти.

– Странно все-таки, – стараясь хоть на минуту уйти от нахлынувшего ужаса в пустую философию, отметил я, – ведь вот на Западе педерастов этих тьма тьмой, и вроде у них страны католические, так что вдвойне грех выходит. Но ничего, живут себе и спят как хотят, никто не спрашивает, активный ты или пассивный. Так, только забава для газет. Засудили, правда, Оскара Уайльда, но ведь это черт знает когда было. А наше атеистическое государство за такую любовь пять лет лагерей по закону дает. А на зоне они, кроме лишней пачки маргарина, ничего не получат, и спят под нарами, ежели пассивные. А если ты кого-то в зад использовал, так тебе от блатных только уважение. А тот, кого использовал, уже и не человек, ему и руки нельзя подать, только член промеж ягодиц задвинуть…

Соловей поморщился.

– Слушай, поэт, опять ты понес какую-то хреновину, какой Оскар Уайльд, какая там всеобщая справедливость! Я тебе говорю – путного парня изнасиловали, на всю жизнь в такую грязь втоптали, из которой и не выберешься! Какое мне дело, что там на Западе, тут свой закон. И по закону я ничего не могу сделать! Он крысятничал, он воровал у своих – значит, все с ним могут поступать, как кому в голову придет. Но он же болен, чокнулся! Может, чуть-чуть в себя придет, а они его добивают, шакалы! Как ты мне говорил, я даже в книжку записал, какой-то там мыслитель заявил: «Оступившегося – толкни!» Я тоже по этому принципу если не всегда жил, так иногда приходилось. Хватит с меня! Знаешь, кто над Витькой этим измывался, – один из дружков Конопатого, Наждак по кличке! Восьмой год сидит и Витьку столько лет знает, блатной с понтом весь из себя. Сегодня они все из камер на зону вышли. Я передал этому Наждаку и Конопатому, что, ежели не принесут свои извинения Витьке и не снимут с него клеймо педераста, им не жить. Я тебя вот для чего позвал: я им еще хуже наказание придумал. Пусть этот хренов Наждак перед Витькой в твоем присутствии, политик, извинится.

Ты вроде человек нейтральный, интеллигент, да и Витька к тебе уважение питает. Ему это приятно будет, может, опомнится, что, мол, не все на него, как на зачуханного, смотрят… А этой мрази заблатованной тем более урок – не положено, чтобы ты, поэт, в разборах вроде судьи был, западло, это им вроде унизительно, так вот пускай проглотят за все хорошее. И за то, что они твоему дружку за банку кофе подстроили. Пусть, суки, по всем счетам заплатят!

– А если не захотят? – спросил я.

– Да, конечно, особым желанием не горят, – отметил Леха и, потянувшись, глянул в окно.

«Какой месяц сейчас? – машинально пытался сообразить я. – Не то сентябрь, не то октябрь, а вон уже хоть и какая-то убогая, а все же метель кружит над нами». В мелкой сетке липкого снега метров за десять от нас качалась и кружилась сторожевая вышка, и охранник, топтавшийся на ней, безнадежно пытался вывести мотив какой-то идиотской песни: «С чего начинается Родина…»

– Да, снежок пуржит, – усмехнулся Соловей, – скоро зима – и на лыжи…

Мы дружно расхохотались, вспомнив, как нас посадили в карцер за то, что на пятачке перед бараком мы гоняли сшитый из тряпочек мяч.

– Слушай, Соловей, я к тебе обращаюсь как к бывшему «президенту блатной республики». На ваши разборы, на сходки эти с финками приходят или мнениями обменяться?

– С финками вообще-то не положено.

Соловей не то чтобы верил в незыблемость блатных законов, но просто сам, никогда не держа за душой заранее продуманной подлости, и в других людях старался подлости этой не предполагать.

В барак Соловья вошел Гешка Безымянов. Молча взял у Лехи кружку чифира, сделал несколько глотков и сказал:

– Ну что, кажется, пора. Пошли.

Мы вышли на то место лагерной зоны, которое шутя называли «бульваром», – узкую полосу между бараками и колючей проволокой. Конопатый и его компания уже ждали нас. Их было восемь.

– А этот антифашистик что здесь делает? – спросил Конопатый. – Ему на наших встречах не место. Нашли мне тоже авторитет!

Леха даже не глянул в сторону Конопатого.

– Так вот, – сказал он, обращаясь к Наждаку, – завтра в присутствии этого самого антифашиста ты принесешь свои извинения Витьке Савичеву за все ваши над ним издевательства.

– Соловей! – сказал Конопатый. – Это уж сверх всякой меры. И ты ответишь за это сейчас же!

– Ну начинайте, – усмехнулся Соловей, – только не приведи вам Господь политика тронуть!

Все как-то на минуту застыли в оцепенении, только дымились в стиснутых зубах закуренные папиросы. Неожиданно нагрянул патруль СВП. Курили мы в неположенном месте. Конопатого они заметили первым и велели идти с ними в штаб, чтобы зафиксировать нарушение режима. Конопатый чуть задержался, и что-то с легким шуршанием упало в снег. Все мы шли медленно сзади, успев спрятать папиросы, делая вид, что просто так прогуливаемся. Леха резко наклонился и поднял из снега две финки и литой кастет. Все замерли. Соловей повернулся к одному из дружков Конопатого, бакинскому вору:

– Забери, вашему главшпану это еще пригодится. А то ведь и правильно сделал – могли в штабе на шмоне отнять.

Леха скинул рукавицы и вывернул пустые карманы. То же самое проделал Гешка Безымянов и я.

– Так кто нарушает законы? – спросил Соловей.

Бакинца затрясло, как в лихорадке:

– Я не знал, Соловей, у меня ведь с собой ничего не было, я, правда, не знал, это подлянка! Я разберусь! Я ручаюсь, что Наждак завтра же извинится перед Савичевым!

Мы разошлись. Леха сказал мне и Гешке с издевкой:

– Вот никогда не думал, что СВП нам жизнь спасет.

На следующий день Наждак явился к бараку Соловья. Вызвали и меня, и Витьку Савичева. Как-то нелепо вертясь и отводя глаза в сторону, Наждак произнес свои извинения.

Витьке подходил срок освобождаться через два месяца. На прощанье он сказал нам с Лехой:

– Этой мрази я все равно никогда не прощу, на свободе сочтемся, если встречу. Но того, что вы для меня сделали, до смерти не забуду.

Зима этого очередного лагерного года была особо лютой и голодной. Режим все ужесточался. Месяцами в ларек не завозили махорки, и зона стонала без курева. Самым шустрым из блатных и то не удавалось накуриться вдоволь. Даже Леха Соловей, обычно раздававший папиросы царственным жестом, в те дни отвечал страждущим:

– Да что я, дочь миллионера ебу, что ли?

Однажды, вернувшись с рабочего объекта, Леха вызвал меня. Он едва не приплясывал от радости, что было на него никак не похоже:

– Смотри, какой грев нам с тобой передали!

Я увидел в тумбочке три бутылки коньяка и груду пачек папирос.

– Приезжал Витька Савичев, – пояснил Соловей, – исхитрился подкупить и шоферов, и конвой. Сказал, что устроился таксистом, женился и со здоровьем все в порядке.

* * *

Я как-то оговорился, что страшнее вшей и доносов в лагерной зоне ничего нет. В ту тяжкую зиму нагрянули на нас беды и похуже. В зоне появились крысы, настоящие, натуральные крысы величиной с кошку. Я раньше думал, что крысы ищут места поукромнее и посытнее, в подвалах бакалейных лавок, в трюмах кораблей. С чего бы это они вдруг оказались здесь, в нашем совсем оголодавшем лагере? И тут мне вдруг показалось, что я понял – крысы выходят из подполья только когда чувствуют, что человек бессилен им сопротивляться, потерял надежду и опускается на дно.

В один из этих дней на лагерном разводе я увидел, что у Соловья окровавлен и изуродован нос.

– Неужели Конопатый с дружками?

– Да нет, не эта шушерня. Проснулся ночью от дикой боли – серая хвостатая тварь мне нос дерет.

– Что же ты сделал? – похолодев, спросил я.

– Да что говорить! Ничего тяжелого под рукой нет, пришлось изловчиться и придушить.

Нашествие крыс довело лагерь до полного отчаяния. Днем мы по-прежнему работали на измор, ночами не спали. Начальство выдало нам несколько мышеловок, но крысы спокойно обходили их стороной. Мы дежурили у дверей и у щелей со швабрами и сапогами в руках, но это мало помогало. Все рвались работать в ночную смену. Так продолжалось месяца два. Потом крысы так же неожиданно исчезли, как и пришли. Лагерь с облегчением вздохнул, но ненадолго.

* * *

Вскоре администрация объявила нам секретное постановление, из Москвы, по которому каждый барак мы должны были собственноручно окружить колючей проволокой. Общение с заключенными других бараков запрещалось и влекло за собой тяжкие наказания. Мало того, нас обязали носить на лагерных

робах и телогрейках нашивки с номерами и фамилиями. Разумеется, и Леха Соловей, и Гешка Безымянов, и я немедленно угодили в карцер за отказ выполнять вышеизложенные указания. Там же оказалась и вся компания Конопатого. Лешка крикнул мне из соседней камеры:

– Ну вот, опять приходится с блатными объединяться!

Каждый вечер, дотягиваясь до узкого оконца карцера, я видел, как Архипыч и другие трудяги плетут проволоку вокруг наших бараков. Их выгоняли на это общественное мероприятие после обычного рабочего дня. Я подумал: *«Вот он – символ реального социализма, – заставить честного работягу окружать самого себя и других колючей проволокой».*

Через 15 суток в карцер заявилось все лагерное начальство во главе с майором Мичковым. Нас согнали в узкий коридор.

– Вот что, бунтари, – сказал Мичков, глядя поверх наших бритых голов, – вы отказались строем в столовую ходить, за малолеток против СВП выступили – я вас гноить и добивать не стал. Но это – местные дела. А теперь указ из Москвы. Проволоку и без вас натянули. Выпускаю всех в зону из карцера на один день. Даю время на размышления и предупреждаю, что отказ носить нашивки с номерами приравнивается к лагерному бунту, то есть, как известно, от шести лет добавки к сроку до расстрела.

Мы медленно разбрелись по уже огороженным баракам. У ворот каждой микрозоны стояли надзиратели из СВП. Но даже они в этот день пропускали нас беспрепятственно из одного барака в другой. Вечером мы должны были дать ответ майору Мичкову. Мы долго бродили с Лехой по зоне. Он весь как-то осунулся и съежился. Даже голубые его глаза совсем потемнели.

– Что же нам делать, политик, сдаваться? Дозволить на себя бирки наклеить?

Меня и самого мутило и пошатывало.

– Слушай, Леха. Ты же знаешь, наши души и так пронумерованы, и на каждом из нас клеймо. Вся наша жизнь у них на виду. Да и на мысли наши у них досье. Я понимаю, что унизительно, но я бы на твоем месте отступил, и других бы уговорил, это в твоих силах. Впрочем, тебе решать.

В продымленной курилке туберкулезного барака сошлись те, кого Мичков соблаговолил выпустить из карцера. Все ждали, что скажет Соловей.

– Вот что, ребята, – медленно, растягивая слова, начал он. – Это их ментовская подлость. Это их позор, а не наш. Пусть разводят свою чекистскую канцелярию. Служить им все равно мы никогда не станем. А вон политик обещает, если на волю выйдет, нашивки наши продемонстрировать разным знаменитым людям

из этого, как говорится, свободного мира.

Помолчали. Кто-то из блатных поднялся и сказал:

– Наверно, ты прав, Соловей. Добро бы за дело идти под расстрел, а то за номер на робе. Только пусть сами этой потехой занимаются, мы им не портные.

Передали на вахту свой последний ультиматум. Все сбросили лагерные робы и остались в одном нижнем белье. Мигом прибежали посланные начальством члены СВП. Мы в оцепенении ожидали, пока они «украшали» нашу одежду.

Когда все разошлись, Леха не выдержал. Он отвернулся к стене и как будто цеплялся за нее дрожащими пальцами.

– Продал я все, политик! Принцип свой предал! Я ж никогда перед ними не отступал!

– Леха, – сказал я ему, – не терзайся, мне и самому не легче. Ты же понимаешь, какие там знаменитые люди в каком-то свободном мире будут рассматривать эти нашивки! Как говорится, просто блеф! Но ведь всем этим ребятам тоже хотелось поверить и твоим словам, и моим сказкам…

Леха знал, что мне не до шуток. В то время мне лепили новый срок. Конфисковали на очередном шмоне письмо Солженицыну, в котором я на страницах 50-ти проводил сравнительное исследование общности и различия между сталинскими и брежневскими лагерями.

Приехавшее следствие трясло всю зону, пытаясь найти на меня показания. И точно раскрутили бы мне семерик, когда б не Леха, пустивший по зоне словцо, что собственными руками замочит каждого, кто даст на меня показания.

Как выяснилось, никому не захотелось купить себе досрочное освобождение ценой моей жизни, зная, что расплачиваться придется с Соловьем. Следствие поразилось, что не удалось расколоть такую обычно податливую уголовную зону, но так, ничего не добившись, и убралось восвояси.

А блатные прониклись ко мне еще большим уважением, ибо, размышляли они, всякий человек, даже мужик, свой звонок знает, а политик не знает, будет ли звонок.

Но в то смутное время следствие было еще в полном разгаре, и ни Леха, ни я не ведали, как обернутся события.

* * *

Летом 71 года кончался мой лагерный срок. Тем, кто должен был освободиться в один день со мной, выдали паспорта. Мне – нет. Многие мои соузники переживали – выпустят меня или

продлят срок. Утром 25 июня я раздавал свой нехитрый лагерный скарб – книги, зарубежные открытки, бритвы, теплое белье, все, что мне сумели передать друзья, минуя надзор, все, что удалось сохранить после бесчисленных обысков. Соловей провожал меня до вахты. Бригаду его уже загоняли в рефрижератор.

Когда я явился на вахту, туда вызвали надзирателя, который в очередной раз тщательно побрил мне голову. Процедура эта могла означать только одно – новый срок. Под конвоем меня повели в штаб лагерной администрации, находящийся за зоной в 100 метрах от запретки. В комнате, где мне велено было ожидать вызова самого начальника лагпункта, сидели двое респектабельных мужчин в штатском и молча курили. Только скользнув взглядом по их непроницаемым лицам, я сразу понял – вот и опекуны из КГБ. Я подошел к окну. Автобус, который должен отвозить освобожденных в город на вокзал, еще не уехал. Это вселяло некоторую надежду. Наконец вызвали к начальнику лагеря.

– Каковы ваши убеждения? – он замялся, не зная, как ко мне обратиться – «заключенный» или «товарищ Делоне». И то и другое было как-то неуместно.

– Убеждения мои остались прежними, но я за них уже отсидел. Да и в настоящий момент этот вопрос неактуален – судя по советской прессе, в Чехословакии достигнута полная нормализация. Вы своего добились. А что до будущего, то если вы вновь задумаете кому-нибудь оказать «братскую помощь» танками, я уж, увольте, поддержку вам не гарантирую.

– Ну ладно, теперь-то вы чем намерены заниматься?

– Литературным творчеством, – безмятежно ответил я.

Полистав папку с моим делом, начальник вздохнул:

– Впрочем, и правда, здесь есть похвальные отзывы о вас известных советских писателей. Так и запишем для порядка: «Намерен заниматься литературным творчеством». Ждите здесь, есть еще некоторые формальности.

Через пять минут начальник вернулся.

– Ступайте в канцелярию за паспортом.

Когда я вышел, лиц в штатском в приемной уже не было.

Автобус с освободившимися ждал меня уже три часа. Не обращая внимания на окрики конвоя, я подошел к лагерным воротам и вскинул над головой скрещенные руки. Я знал, что зона ждет этого знака, кто-нибудь да увидит и поймет, что я на свободе.

Я медленно побрел к автобусу. Как ни покажется это многим странным, никакого чувства облегчения я не испытывал. Скорее, я ощущал горечь оттого, что не в моих силах помочь чем-то

реальным моим друзьям, оставшимся на зоне. Не смогу помочь ни сейчас, ни когда их выпустят за ворота лагеря. Я знал, что никакой литературной и общественной деятельностью мне заниматься не дозволят…

* * *

Прошло полтора года. Я жил в Москве, но не у себя дома, скитался по квартирам друзей. За мной по пятам ходили то наряды милиции, то работники психдиспансеров. Я не хотел, чтоб они терзали моих родных бесконечными расспросами о том, что я делаю и с кем встречаюсь. В Москве в любом отделе кадров немедленно обращали внимание на особую отметку в паспорте – судимость. Я уезжал на раскопки в археологические экспедиции, оформлялся уже на месте в глухих местах, дабы не подводить рекомендовавших меня знакомых ученых. Все исхищрения эти нужны были, чтобы представить в милицию справку о том, что я тружусь на благо социалистической родины. Отсутствие такой справки могло незамедлительно повлечь за собой арест и год лагерей по статье о так называемом тунеядстве. В психдиспансерах, когда меня удавалось изловить, задавали мне один и тот же вопрос:

– Вы письма пишете?

– Пишу, – говорил я, – друзьям, знакомым.

– А почему же ваша подпись вот под этим заявлением, ставшим известным на Западе? – И совали мне в нос текст письма в защиту Буковского.

– Но ведь согласитесь, – пытался возразить я, – и меня, и Буковского ваша же высшая инстанция, институт имени Сербского, дважды признала вменяемыми. Следовательно, при чем здесь психиатрия?

В диспансере только качали головами: – Знаете, поведение пациента меняется. Можно и еще раз проверить.

* * *

Неожиданно пришло мне письмо: «Вадим, если ты не забыл, я освобождаюсь в октябре 1972 г. по концу срока. Будет возможность, приезжай встречать. Соловей».

Письмо это шло окольными путями. В подарок Лехе раздобыл я шерстяной свитер, не Бог весть что, не какой-нибудь там Карден, но все же норвежский, с красивым узором. Я улетел

ночным рейсом в город Тюмень, чтобы успеть встретить Соловья, когда он только выйдет из ворот зоны, ведь никакого дома и родных у него не было. А выпускают закончивших свой срок сразу же после лагерного развода, это я хорошо знал. Но только сидя в самолете, я вдруг подумал – а как, собственно, найду я этот лагерь, ведь нет у меня точного адреса. Я знал, что около Тюмени, но где? В зону везли меня из пересыльной тюрьмы в воронке, потом на стройки социализма – в закрытых рефрижераторах, где уж там запоминать маршрут. Когда освобождался, так везли в специальном лагерном автобусе, и тоже было не до того, чтобы обозревать окрестности. Письма направлялись по адресу: «г. Тюмень, ИТУ-2», то есть исправительно-трудовое учреждение, секретный объект. Родным, когда они ехали на свидание со мной в лагерь, адрес конфиденциально сообщали в каком-то высоком учреждении Министерства внутренних дел. Но перед тем как лететь в Тюмень, я не подумал об этом. Какая-то нелепица получается – сидел, сидел три года и сам даже не знаешь толком, где.

В некоторой задумчивости я вышел из ворот тюменского аэропорта. В белом месиве колкого снега вдруг всплыл зеленый огонек такси.

– Куда едем? – спросил у меня кучерявый парень в потертой кожанке.

– ИТУ-2, – ответил я, усаживаясь в машину. Шофер почему-то точного адреса выяснять не стал.

Машина рванулась с места. Мелькали какие-то полусгнившие деревянные дома, похожие скорее на бараки, и наспех сшитые из бетонных плит корпуса современных зданий. Таксист неожиданно спросил:

– Друга встречаешь, что ли?

И сразу же все ушло на второй план – и убогие халупы, и эти стандартные гробы для привилегированных.

– Послушай, с чего ты взял, что я друга встречаю? Может, я из Москвы по какой-нибудь другой оказии, может, у меня поручения секретные к местному начальству.

– Знаешь что, ты мне мозги не пудри, и так метель все стекло законопатила. Что я эту бесовню не знаю, что ли! Ты на них как-то не смотришься. Лучше скажи, сколько ты в командировке за колючкой в наших краях оттянул?

– Так, всего-то ничего, три года. А вот друг, которого встречаю, как ты верно вычислил, – червонец.

Шофер набрал в грудь воздух и как-то отчаянно выдохнул на переднее стекло машины, будто надеялся, что от этого станет лучше видна дорога…

Мы остановились на положенном расстоянии от «секретного объекта». Мимо нашего такси со скрежетом проезжали рефрижераторы, набитые битком зэками, – на объекты, на стройки. Может, кто-то успел просверлить глухую железную обшивку и увидел нас, а может быть и нет. Лагерный развод кончался. Наступало время для тех, кого освобождают по концу срока.

Кто-то негромко постучал в боковое стекло такси. Я машинально приоткрыл дверцу.

– Эй, землячок, – услышал я чей-то неторопливый голос, – отпусти своего шофера, а то зря ведь счетчик щелкает. Моя машина рядом, пересаживайся. Мы здесь с тобой по одной и той же причине, если не ошибаюсь.

– Сколько с меня? – обратился я к таксисту.

– С тебя – ничего, – ответил он, и счетчик многозначительно умолк.

– Ну тогда вот хоть это возьми, – и я сунул ему в руки одну из припасенных для встречи бутылок хорошего коньяка.

Таксист повертел ее в руках, почесал затылок.

– Что ж, от выпивки грех отказываться. А то ведь, и вправду, нажираешься вусмерть по датам ихних поганых партейных праздников, ежели еще отгул дадут, а за свободу человека и выпить некогда.

Ничего еще толком не соображая, я вышел из своего такси и направился к другому. Мой новый шофер спросил меня с некоторой иронией:

– Ты что, как будто не в себе?

– Да, – пробормотал я, – отсюда, с воли, все это показалось мне еще страшнее, чем когда я был там…

Шофер вскинул на меня глаза:

– А меня-то ты что, не узнал?

– Витька! Савичев! – не то прошептал, не то крикнул я.

– Да, он, тот самый, за которого Соловей, как говорится, жизнь на карту поставил. Да ты не хуже меня самого всю эту историю знаешь. Садись в машину, а то тебя как-то трясет. Выпьем по глоточку и подождем Леху.

В сером октябрьском утре заболоченного предместья Тюмени, в окольцованной колючкой зоне едва можно было различить людей в одинаковых серых робах и бушлатах. Вернее – не людей, а их тени. И мне вдруг показалось, что моя собственная тень навсегда осталась там…

И вернулся сюда, где этапов не ждут,
Где считают года на копейки минут,

Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, но себя никогда.

Я вернулся сюда, как из мира теней,
Думал – все, отстрадал, думал – пой, мол, да пей,
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак, и барак, и тоска вечеров…

Париж, 1981

Ради нескольких минут свободы

Весной 1968-го, мне было тогда десять лет, моя мать, преподаватель университета и специалист по Советскому Союзу, взяла меня с собой в Москву, куда ее пригласили на конгресс историков. Там она всюду водила меня с собой, и однажды таким образом я попал на обед к советнику по культуре французского посольства. Это было неформальное, почти семейное, начисто лишенное дипломатической скованности мероприятие. Туда были приглашены и несколько русских деятелей культуры, с кем дипломат-француз, сам имевший русских предков, успел подружиться, несмотря на сложности и даже опасность, которыми были чреваты для советских граждан связи с иностранцами. В этой компании взрослых людей я, ребенок, безнадежно заскучал бы, не окажись среди гостей один молодой человек – очень приветливый, романтичный и красивый, который принялся расспрашивать меня о прочитанных книгах, и в конце концов наша беседа вылилась в увлекательнейшее обсуждение «Трех мушкетеров». Прошли годы, но его имени я не забыл – его звали Вадим Делоне. Была и еще одна деталь, вызывавшая дополнительный интерес к этому человеку: он оказался потомком маркиза де Лоне, коменданта Бастилии в 1789 году, чью отрубленную голову, наколотую на острие пики, восставшие носили по парижским улицам.

В момент нашей встречи Вадиму было не больше двадцати лет, и я, по наивности, принял его за усердного тихоню-студента. Я не знал, что за два года до нашей встречи он попал в психиатрическую лечебницу только за то, что публично декламировал запрещенные стихи, потом был заточен в лефортовскую тюрьму и, в конце концов, сослан в Новосибирск. А через несколько месяцев после своего возвращения в Москву (краткий миг свободы, в который вместилась и наша оживленная беседа о «Трех мушкетерах») он окажется одним из тех восьми человек, – их было всего восемь! – кто в августе 1968 года совершил поступок головокружительной смелости: они вышли на Красную площадь, чтобы выразить свой протест против вторжения русских танков в Чехословакию. Я хочу привести здесь имена всех его товарищей: Лариса Богораз, Павел Литвинов, Владимир Дремлюга, Татьяна Баева, Виктор Файн берг, Константин Бабицкий и Наталья Горбаневская, которая пришла туда с ребенком в коляске. Вадим нес плакат, на котором было написано: «За нашу и вашу свободу». Слова необыкновенной простоты и точности: свобода, на защиту которой они поднялись,

принадлежала не только чехам, не только русским, но и нам, живущим на Западе. Мы сочувственно вздыхали, но, отводя глаза, по сути попустительствовали происходящему, не отдавая себе отчета в том, сколько эти герои, мужчины и женщины, сделали *для нас всех*. Эти восемь человек получили за свой демарш на Красной площади различные тюремные сроки. Вадиму дали два с половиной года лагерей, о которых он рассказывает в этой книге. Когда он вышел на свободу, КГБ сделала его жизнь и жизнь его близких совершенно невыносимой, и он, смирившись, с печалью в душе, покинул Россию. Стихотворение, написанное в Париже, дает возможность понять, что чувствовал он, оказавшись далеко от своей страны, от ее языка, от ее страданий, которые ощущал как свои собственные. И как горько сожалел, что не может разделить их со своими соотечественниками.

Словно ветром меня в лагеря понесло,
Никогда не жалел я о дерзости слов.
И вернулся сюда, где этапов не ждут,
Где считают года на копейки минут,
Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, а себя никогда.

Я вернулся сюда, как из мира теней,
Думал – все отстрадал, думал – пой, мол, да пей,
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак, и тоска вечеров.

Люди, которых он знал там, превратились в тени. И среди них – его собственная тень, которая осталась на родине навсегда: он это чувствовал. Вадим умер в Париже 13 июня 1983 года, в возрасте тридцати пяти лет.

В юности, взрослея, я часто вспоминал молодого человека, который оказался способен провести несколько часов, беседуя со всеми забытым, робким мальчиком. Он остался в моей памяти как идеальный образ старшего брата. Но о судьбе Вадима я не знал ничего. То, что здесь кратко пересказано и что можно найти в любом историческом исследовании, повествующем о тех временах, мне самому стало известно из прочтенной несколько лет назад «Книги мерт вых» Эдуарда Лимонова, о ком я написал биографический роман. В этой книге Лимонов вспоминает людей, которых он знал и которые уже ушли. Среди них – Вадим Делоне, и автор – человек отнюдь не сентиментальный, Бог тому свидетель – описывает его с удивительной нежностью. Он изображает своего героя в точности таким, каким этот молодой

человек запомнился мне, кто сорок пять лет назад провел рядом с ним несколько незабываемых часов.

А ведь между этими двумя людьми – автором и его героем – так мало общего! Лимонов, родившийся в простой семье, как истинный герой приключенческого романа, обладал неискоренимым инстинктом выживания. А предками Вадима были французские аристократы и высшая научная интеллигенция: он был прекрасно воспитан и образован, но мягок по характеру и легкораним. И все же и тот, и другой – каждый на свой манер – обладали сильными, несгибаемыми характерами. Их рассказы о пережитом в тюрьме странным образом похожи друг на друга, хотя и написаны с интервалом в тридцать лет, а сам этот опыт получен ими в странах и исторических условиях, не имевших между собой, на первый взгляд, ничего общего. Они оба были политзаключенными, но сидели вместе с уголовниками, где царят жестокие нравы и где интеллигент чувствует себя неуютно. И, тем не менее, оба сумели заставить этих людей, живущих по жестоким законам джунглей, не только уважать себя, но и любить. Они сумели завоевать их доверие, помогали им писать письма, подавать жалобы, они стали для них моральными авторитетами. Стараясь поддержать сокамерников, они способствовали смягчению нравов, и если им это удавалось, то потому, что оба – парадоксальным образом – верили в то, что выразил в своих «Записках из мертвого дома» Достоевский: в Советском Союзе, как и в царской России, те, кто попадал в тюрьмы, представляли собой наиболее живую, энергичную и способную к сопротивлению часть населения, в большинстве своем склонного к обескураживающему, слепому повиновению. В своих книгах и тот, и другой мало говорят о себе и очень много – о тех, кто рядом. Оба рассказывают множество историй, разматывая цепь несчастий и роковых обстоятельств, неповиновений и пустых случайностей, приведших их героев туда, где они оказались – за решетку. Великая лагерная литература породила два способа относиться к жизни. Крайние пессимисты, вроде Варлама Шаламова, склонны считать, что чудовищная система тоталитаризма, направленная на уничтожение в человеке всего человеческого, своей цели добилась. Другие, как Евгения Гинзбург, убеждены, что она потерпела фиаско: можно морить заключенного голодом, унижать его, мучить, лишать точки опоры, подвергать моральным мучениям самого изощренного свойства, но убить его душу – невозможно. Во всяком случае, не всегда. Страх, голод, тотальная ложь проявляют в человеке самое худшее, но они же дают высокие примеры человеческого достоинства и доброты. И сколь

бы ни были различными их судьбы и характеры – Лимонов, отпетый хулиган, убежденный, что успешная жизненная стратегия должна строиться на осознании враждебности окружающей среды, и Делоне, добрый и уступчивый аристократ, умевший потрясать души самых закоренелых преступников, рассказывая им евангельские притчи, – этих двух людей надо отнести ко второй категории. К тем, кто борется не только против произвола, но и против порождаемой им черной безысходности. И в тот момент, когда в стране, где сама мысль о сопротивлении, как казалось, похороненная навсегда, вдруг начинает проявлять робкие признаки жизни, их книги, на мой взгляд, придутся как нельзя более кстати, сообщив нам нечто главное, очень важное и не терпящее отлагательств. И то, что они хотят нам сказать, не должно остаться незамеченным – «ради нашей и вашей свободы».

Эммануэль Каррер

P. S. Хочу заметить, что Вадим отрицательно относился как к личности Эдуарда Лимонова, так и к его творчеству. По словам господина Каррера, Лимонов описывает Вадима «с удивительной нежностью». В связи с этим вспоминаю такую шутку Вадима: «Если меня кто-то не любит, это непременно плохой человек, а если любит, то необязательно хороший. Это как в математике – условие необходимое, но недостаточное». Вот как сказались гены Деда, ученого-математика, Бориса Николаевича Делоне.

Ирина Белогородская-Делоне

notes

Примечания

1

Леонид Губанов умер в Москве в сентябре 1983 г. в 37 лет.